

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке ModernLib.Ru](http://ModernLib.Ru)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Джон Голсуорси Интерлюдия. Последнее лето Форсайта

Сага о Форсайтах –

Джон Голсуорси Интерлюдия. Последнее лето Форсайта (Сага о Форсайтах-2)

И жизни летней слишком срок недолог.

Шекспир

I

В последний день мая, в начале девяностых годов, часов в шесть вечера, старый Джолион Форсайт сидел в тени дуба перед террасой своего дома в Робин-Хилле. Он ждал, когда его начнут кусать комары, чтобы только тогда оторваться от созерцания дивного дня. Его худая тёмная рука, исчерченная выступающими синими жилами, держала конец сигары в тонких пальцах с длинными ногтями; острые гладкие ногти сохранились у него с тех времён начала царствования Виктории, когда ни к чему не прикасаться, даже кончиками пальцев, считалось признаком хорошего тона. Его выпуклый лоб, большие белые усы, худые щеки и длинный худой подбородок были прикрыты от заходящего солнца потемневшей панамой. Он положил ногу на ногу; во всей его позе было спокойствие в особое изящное благородство старика, который каждое утро душит шёлковый носовой платок одеколоном. У ног его лежал косматый коричневый с белым пёс, притворяющийся шпицем, пёс Балтазар, в отношении которого со старым Джолноном первоначальная взаимная антипатия с годами сменилась привязанностью. У самого кресла были качели, а на качелях сидела одна из кукол Холли по имени «Алиса-глупышка»¹; она свалилась всем телом на ноги, а носом зарылась в чёрную юбку. Алисой всегда пренебрегали, и ей было все равно, как бы ни сидеть. Ниже старого дуба газон круто сбегал по склону, тянулся до папоротников, а дальше, переходя в луг, спускался к пруду, к роще и к «виду» — «прекрасному, замечательному», на который пять лет назад, сидя под этим самым деревом, загляделся Суизин Форсайт, когда приезжал сюда с Ирэн посмотреть на дом. Старый Джолион слышал об этом подвиге своего брата, об этой поездке, которая получила громкую известность на Форсайтской Бирже. Суизин! Вот ведь взял да и умер в ноябре, всего семидесяти девяти лет от роду, вновь вызвав этим сомнение в бессмертии Форсайтов, которое впервые возникло, когда скончалась тётя Энн. Умер! И остались теперь только Джолион и Джеме, Роджер и Николае, да Тимоти, Джули, Эстер, Сьюзен. И старый Джолион думал: «Восемьдесят пять лет! А я и не чувствую — разве только когда эта боль начинается».

Его мысли отправились странствовать в прошлое. Он перестал ощущать свой возраст с

тех пор, как купил злополучный дом своего племянника Сомса и поселился в нём здесь, в Робин-Хилле, три года назад. Словно он становился все моложе с каждой весной, живя в деревне с сыном и, внуками — Джун и маленькими, от второго брака, Джолли и Холли, — живя далеко от грохота Лондона и кудахтанья Форсайтской Биржи, не связанный больше своими заседаниями, в сладостном сознании, что не надо работать, достаточно занятый усовершенствованием и украшением дома и двадцати акров земли при нём и потворством фантазиям Джолли и Холли. Все ушибы и ссадины, накопившиеся у него на сердце за время долгой и трагической истории Джун, Сомса, его жены Ирэн и бедного молодого Босини, теперь зажили. Даже Джун наконец стряхнула с себя меланхолию — это доказывало путешествие — по Испании, в которое она отправилась с отцом и мачехой. Необыкновенный покой воцарился после их отъезда, дивно хорошо было, но пустовато, потому что с ним не было сына. Джо был ему теперь постоянным утешением и радостью — приятный человек; но женщины — даже самые лучшие — всегда как-то действуют на нервы, если только, конечно, ими не восхищаешься.

Вдалеке куковала кукушка; лесной голубь ворковал с ближайшего вяза на краю поля, а как распустились после покоса ромашки и лютики! И ветер переменялся на югозападный — чудесный воздух, сочный! Он сдвинул шляпу на затылок и подставил подбородок и щеку солнцу. Почему-то сегодня ему хотелось общества, хотелось посмотреть на красивое лицо. Считается, что старым людям ничего не нужно. И та нефорсайтская философия, которая всегда жила в его душе, подсказала мысль: «Всегда нам мало. Будешь стоять одной ногой в могиле, а все, должно быть, чего-то будет хотеться». Здесь, вдали от города, вдали от забот и дел, его внуки и цветы, деревья и птицы его маленького владения, а больше всего — солнце, луна и звезды над ними день и ночь говорили ему: «Сезам, откройся». И Сезам открылся как широко открылся, он вероятно, и сам не знал. Он всегда находил в себе отклик на то, что теперь стали называть «Природой», искренний, почти благоговейный отклик, хотя так и не разучился называть закат — закатом, а вид — видом, как бы глубоко они его ни волновали. Но теперь Природа вызывала в нем даже тоску — так остро он ее ощущал. Не пропуская ни одного из этих тихих, ясных, все удлинявшихся дней, за руку с Холли, следом за псом Балтазаром, усердно высматривающим что-то и ничего, не находящим, он бродил, глядя, как раскрываются розы, как наливаются фрукты на шпалерах, как солнечный свет золотит листья дуба и молодые побеги в роще; глядя, как развертываются и поблескивают листья водяных лилий и серебрится пшеница на единственном засеянном участке; слушая скворцов и жаворонков и олдерейских коров, жующих жвачку, лениво помахивая хвостами с кисточками. И не проходило дня, чтобы он не испытывал легкой тоски просто от любви ко всему этому, чувствуя, может быть, глубоко внутри, что ему недолго осталось радоваться жизни: Мысль, что когда-нибудь — может быть, через десять лет, может быть, через пять — все это у него отнимется, отнимется раньше, чем истощится его способность любить, представлялась ему несправедливостью, омрачающей его душу. Если что и будет после смерти, так не то, что ему нужно, — не Робин-Хилл с птицами и цветами и красивыми лицами — их-то и теперь он видит слишком мало. С годами его отвращение ко всякой фальши возросло; нетерпимость, которую он культивировал в шестидесятых годах, как культивировал баки, просто от избытка сил, давно исчезла, и теперь он преклонялся только перед тремя вещами: красотой, честностью и чувством собственности; и первое место занимала красота. Он всегда многим интересовался и даже до сих пор почитывал «Таймс», но был способен в любую минуту отложить газету, услышав пение дрозда. Честность, собственность — утомительно это все-таки; дрозды и закаты никогда его не утомляли, только вызывали в нем беспокойное чувство, что ему все мало. Устремив взгляд на тихое сияние раннего вечера и на маленькие золотые и белые цветы газона, он подумал: эта погода как музыка «Орфея»², которого он недавно слышал в театре «Ковент-Гарден». Прекрасная опера, не Мейербер, конечно, даже не Моцарт, но в своем роде, может быть, еще лучше; в

ней есть что-то классическое, от Золотого века, чистое и сочное, а пение Раволи «прямо как в прежние время» — высшая похвала, на какую он был способен. Тоска Орфея по ускользящей от него красоте, по любимой, поглощенной адом, — так и в жизни прекрасное и любимое ускользает от нас, — та тоска, что дрожала и пела в золотей музыке, таилась сегодня в застывшей красоте земли. И носком башмака на пробковой подошве он нечаянно пошевелил пса Балтазара, отчего тот проснулся и стал искать блох, ибо хотя считалось, что у него их нет, его никак нельзя было убедить в этом. Кончив, он потерял место, которое только что чесал, о ногу хозяина и снова затих, положив морду на беспокойный башмак. И в уме старого Джолиона вдруг возникло воспоминание — лицо, которое он видел тогда в опере, три недели назад, — Ирэн, жена его милого племянничка Сомса, этого собственника! Хотя он и не видел ее со дня приема в своем старом доме на Стэнхоп-Гейт, когда праздновалась злополучная помолвка его внучки Джон с молодым Босини, он ее вспомнил сейчас же, так как всегда любовался ею: очень хорошенькое создание. После смерти Босини, любовницей которого она стала, вызвав этим столько нареканий, он слышал, что она сейчас же ушла от Сомса. Одному богу известно, что она с тех пор делала. Вид ее лица в профиль, в ряду впереди него, был единственным за эти три года напоминанием о том, что она вообще жива. О ней никогда не говорили. Однажды, впрочем, Джо сказал ему одну вещь, которая тогда страшно его расстроила. Джо узнал это, кажется, от Джорджа Форсайта, который видел Босини в тумане в день, когда он попал под омнибус, — то, чем объяснялось отчаяние молодого человека, поступок Сомса по отношению к своей жене — гадкий поступок. Сам Джо видел её в тот вечер, когда узнали о несчастье, видел на одно мгновение, и его слова засели в памяти у старого Джолиона. «Загнанная, потерянная», — назвал он её. А на следующее утро туда пошла Джун — взяла себя в руки и пошла туда — и горничная со слезами рассказала ей, как ночью её хозяйка ушла из дому и пропала. Трагическая в общем история! Верно одно: Сомсу так и не удалось снова завладеть ею. И он живёт в Брайтоне³ и ездит в Лондон и обратно так ему и надо, этому собственнику! Ибо если уж старый Джолион не любил кого (как не любил племянника), он своего отношения никогда не менял. Он до сих пор помнил, с каким чувством облегчения услышал тогда весть об исчезновении Ирэн — тяжело было думать о ней, томящейся в этом доме, куда она вернулась, когда Джо её видел, вернулась, наверное, на минуту, как раненый зверь в свою нору, прочитав на улице в газете «Трагическая смерть архитектора». Её лицо поразило его тогда в театре — красивее, чем ему помнилось, но точно маска, под которой что-то живёт. Ещё молодая женщина — лет двадцать восемь, наверно. Ну что ж, по всей вероятности, у неё теперь есть другой любовник. Но при этой слишком вольной мысли ведь замужним женщинам не полагается любить, и одногого раза было более чем достаточно — его нога приподнялась, а с ней и голова пса Балтазара. Догадливый пёс встал и взглянул в лицо старому Джолиону. Он словно спрашивал: «Гулять?» — и старый Джолион ответил:

— Пойдём, старина.

Медленно, как всегда, они прошли по созвездиям лютиков и ромашек и вступили в папоротники. Эта площадка, на которой сейчас ещё почти ничего не росло, была предусмотрительно разбита пониже первого газона, чтобы в сочетании с нижней лужайкой создать впечатление естественного беспорядка, столь важное в садоводстве. Пёс Балтазар облюбовал тут камни и землю и иногда находил в норке крота. Старый Джолион всегда нарочно шёл этой дорогой, потому что, хотя тут и не было красиво, он решил, что когда-нибудь будет, и часто думал: «Нужно, чтобы приехал Варр и придумал, что тут устроить; он разберётся лучше, чем Бич». Растения, как и дома и человеческие недуги, требовали, по его мнению, самого просвещённого внимания. Там жило много улиток, и, если с ним бывали внуки, он кивал на улитку и рассказывал историю про маленького мальчика, который спросил: «Мама, а у сливов бывают ножки?» — «Нет, сынок». — «Ну, так я, значит, улитку съел». И когда они подпрыгивали и хватали его за руку, представляя себе, как улитка

проскакивает в горлышко мальчику, глаза его хитро подмигивали. Пройдя папоротники, он открыл калитку, которая вела в первое поле, большое и ровное, где кирпичными стенками было отделено место для огорода. Старый Джолион не пошёл туда — огород не подходил к его настроению, — а стал спускаться к пруду. Балтазар, у которого были там знакомые водяные крысы, помчался вперёд аллюром пожилой собаки, которая каждый день совершает одну и ту же прогулку. Дойдя до берега, старый Джолион остановился, заметив, что со вчерашнего дня распустилась ещё одна лилия; завтра он покажет её Холли, когда его «детка» оправится от расстройства, вызванного съеденным за обедом помидором; желудочек у неё очень нежный. Теперь, когда Джолли уехал учиться — первый год в школе, девочка почти весь день проводила с ним, и он очень скучал без неё. И ещё он ощущал боль, которая теперь часто беспокоила его: немного ныло в левом боку. Он оглянулся вверх, на дом. Право же, этот Босини отлично справился со своей задачей; он сделал бы прекрасную карьеру, если бы остался жив. А где он теперь? Может быть, все ещё бродит здесь, на месте своей последней работы, своего несчастного романа. Или дух Филипа Босини растворился во вселенной? Кто скажет? Эта собака себе все лапы выпачкает! И он двинулся к роще. Он как-то нашёл там очаровательные колокольчики и знал, где они ещё доцветали, как кусочки неба, упавшие среди деревьев подальше от солнца. Он миновал стойла и курятники, построенные на опушке, и направился по узкой тропинке в гущу молодых деревьев, туда, где росли колокольчики. Балтазар, снова обогнавший его, тихо зарычал. Старый Джолион подтолкнул его ногой, но пёс словно прирос к земле, как раз в таком месте, где его нельзя было обойти, и шерсть на его косматой спине медленно поднялась. От рычания ли и вида оцетинившегося пса, или от ощущения, которое находит на человека в лесу, только старый Джолион и сам почувствовал, словно по спине у него прошёл холодок. А потом тропинка свернула, и было там упавшее дерево, поросшее мхом, и на нём сидела женщина. Лица её не было видно, и он только успел подумать: «Зашла на чужой участок, нужно прибить дощечку», — как она оглянулась. Силы небесные! То самое лицо, которое он видел в опере, женщина, о которой он только что думал! В это смутное мгновение все слилось у него перед глазами, будто призрак, — как странно! Может быть, виной тому косые лучи солнца на её лиловато-сером платье? А потом она поднялась и стала, улыбаясь, немного наклонив голову набок. Старый Джолион подумал: «Какая она красивая!» Она не говорила, он тоже; и он понял причину её молчания и оценил его. Её, несомненно, привело сюда какое-то воспоминание, и она не собиралась выпутываться банальными объяснениями.

— Не подпускайте собаку близко, — сказал он, — у неё мокрые лапы. Эй ты, сюда!

Но пёс Балтазар подошёл к гостье, и она опустила руку и погладила его по голове. Старый Джолион быстро сказал:

— Я вас видел недавно в опере; вы меня не заметили.

— О нет, заметила.

Он услышал в этом тонкую лесть, как будто она добавила: «Неужели вы думаете, что вас можно не заметить?»

— Они все в Испании, — сказал он Отрывисто. — Я здесь один, ездил в Лондон послушать оперу. Раволи хороша. Вы коровник видели?

В эту минуту, полную неизъяснимой тайны и даже душевного волнения, он инстинктивно двинулся к этому кусочку собственности, и она пошла рядом с ним. Стан её чуть покачивался на ходу, как у изящных француженок; её платье было лиловато-серое. Он разглядел две-три серебряные нити в янтарного цвета волосах — странно, такие волосы, и тёмные глаза, и тёплая бледность лица. Неожиданный, искоса брошенный взгляд этих бархатисто-карих глаз смутил его. Казалось, он возник где-то глубоко, чуть не в Другом мире или во всяком случае у женщины, которая в Том мире живёт только наполовину. И он сказал машинально:

— Где вы теперь живёте?

— У меня квартирка в Челси⁴.

Он не хотел знать, что она делает, ничего не хотел знать; но, наперекор ему, вырвалось слово:

— Одна? Она кивнула. Ему стало легче. И пришло в голову, что, если бы не случайная игра судьбы, она была бы хозяйкой этой рожи и показывала бы её ему, гостю.

— Все олдернейки, — пробормотал он, — самое лучшее молоко дают. Вот эта красивая. Эй! Мэртл!

Песочного цвета корова, с глазами такими же мягкими и карими, как у Ирэн, стояла неподвижно: её давно не доили. Она поглядывала на них уголком блестящих, кротких, равнодушных глаз, и с её серых губ на солому стекала тонкая нитка слюны. В полумраке прохладного коровника пахло сеном, ванилью, аммиаком; и старый Джолион сказал:

— Пойдёмте в дом, пообедайте со мной. Обратно я вас отправлю в коляске.

Он видел, что в ней происходит борьба; вполне понятно, с такими воспоминаниями!.. Но он хотел её общества — хорошенькое лицо, прелестная фигура, красота! Он весь день был один. Возможно, что его глаза были печальны, потому что она ответила:

— Спасибо, дядя Джолион. С удовольствием.

Он потёр руки и сказал:

— Вот и отлично. Тогда идёмте!

И следом за псом Балтазаром они стали подниматься по лугу. Солнце светило им теперь почти прямо в лицо, и он видел не только серебряные нити, но и морщинки, достаточно глубокие, чтобы придать её красоте утончённость (лицо на монете!) — отпечаток жизни, не разделённой с другими. «Проведу её через террасу, — подумал он. — Она не просто гостья».

— Что вы делаете целыми днями? — спросил он.

— Даю уроки музыки, и ещё у меня есть занятие.

— Работа — что может быть лучше, правда? — сказал старый Джолион, подбирая с качелей Куклу и расправляя её чёрную юбку. — Я-то уж не работаю. Я старею. А какое это занятие?

— Стараюсь помочь женщинам, которые попали в беду.

Старый Джолион не совсем понял.

— В беду? — повторил он; потом с испугом сообразил, что она подразумевает именно то, что подразумевал бы он сам, если бы употребил это выражение. Помогает лондонским Магдалинам! Какое непривлекательное, страшное занятие! Любопытство пересилило его врождённую стыдливость, и он спросил: — Как? Что же вы для них делаете?

— Не много. У меня нет лишних денег. Я только жалею их и иногда подкармливаю.

Невольно рука старого Джолиона потянулась к кошельку. Он сказал поспешно:

— А как вы с ними знакомитесь?

— Хожу в одну больницу.

— В больницу! Ну-ну!

— Самое грустное, по-моему, это то, что когда-то почти все они были красивы.

Старый Джолион расправил куклу.

— Красота! — воскликнул он. — Да, да, печальная история, — и пошёл к дому.

Через стеклянную дверь, приподняв ещё не отёрнутые портьеры, он провёл её в комнату, в которой обычно изучал «Тайме» и страницы сельскохозяйственного журнала, огромные иллюстрации которого — кормовая свёкла и Прочие прелести — служили Холли для раскрашивания.

— Обед через полчаса. Вероятно, хотите вымыть руки? Пройдите в комнату Джун.

Он заметил, как жадно она глядит по сторонам; сколько перемен с тех пор, как она в последний раз была здесь с мужем, или с любовником, или с обоими вместе, — он не знал, понятия не имел! Всё это было неясно, и он не желал разъяснения. Но сколько перемен! И в

холле он сказал:

— Мой сын Джо, знаете ли, художник. У него прекрасный вкус. Не мой вкус, конечно, но я его не стесняю.

Она стояла тихо-тихо, обводя взглядом большой холл под стеклянной крышей, служивший теперь гостиной. У старого Джолиона было странное ощущение. Не старается ли она вызвать кого-то из теней этой комнаты, где все жемчужно-серое и серебряное? Он-то предпочёл бы золото: веселей и прочнее. Но у Джо французские вкусы, вот комната и получилась такая призрачная, словно в ней стоят дым от папирос, которые он вечно курит, дым, то тут, то там оживлённый, точно вспышкой, синим или алым пятком. Он-то мечтал о другом. Мысленно он развесил здесь свои шедевры — натюрморты в золотых рамах, которые он покупал в те времена, когда в картине ценился размер. А где они теперь? Проданы за бесценок! Ибо та непонятная сила, которая заставляла его единственного из Форсайтов, идти в ногу с веком, подсказала ему, что нечего и пытаться сохранить их. Но в кабинете у него до сих пор висели «Голландские рыбацьи лодки на закате».

Он стал подниматься по лестнице следом за Ирэн, медленно, так как бок побаливал.

— Вот здесь ванные, — сказал он, — и другие помещения Я велел отделать пол и стены кафелем... Там детские. А вот комната Джо и его жены. Они все сообщаются. Да вы, вероятно, помните.

Ирэн кивнула. Они прошли по галерее дальше и вошли в большую комнату с узкой кроватью и несколькими окнами.

— А это моя, — сказал он. На стенах висели снимки детей и акварельные наброски, и он добавил неуверенно: — Работа Джо. Вид отсюда превосходный. В ясную погоду виден Эпсомский ипподром.

Солнце теперь было низко за домом, и на «вид» опустилась прозрачная дымка, отсвет длинного счастливого дня. Домов почти не было видно, но поля и деревья слабо поблёскивали, сливаясь вдаль.

— Местность меняется, — сказал он отрывисто, — но она останется, когда нас уже не будет. Слышите — дрозды; птицы тут хороши утром. Я рад, что разделался с Лондоном.

Её лицо было у самого оконного стекла; Джолиона поразило его унылое выражение. «Хотел бы я, чтобы она выглядела повеселее, — подумал он. Красивое лицо, но грустное» И, захватив кувшин с горячей водой, он вышел на галерею.

— Это вот комната Джун, — сказал он, отворяя следующую дверь и ставя кувшин на пол. — Найдёте все, что вам нужно.

И, закрыв дверь, он опять прошёл к себе. Приглаживая волосы большими щётками чёрного дерева и смачивая лоб одеколоном, он размышлял. Она появилась так странно — как видение, таинственно, даже романтично, словно его желание общества, красоты было услышано... ну, тем, кому полагается слышать такие вещи. И, стоя перед зеркалом, он расправил свою все ещё прямую спину, провёл щётками по длинным белым усам, тронул брови одеколоном и позвонил.

— Я забыл предупредить, что у меня обедает гостья.

Пусть кухарка там приготовит что-нибудь повкуснее, и скажите Бикону, чтобы в половине одиннадцатого подал ландо парой: отвезёт её в Лондон. Мисс Холли спит?

Горничная не знала, кажется, нет. И старый Джолион на цыпочках прокрался по галерее к детской и отворил дверь, петли которой всегда смазывались, чтобы он мог неслышно входить и выходить по вечерам.

Но Холли спала, лежала, как маленькая мадонна из тех, которых старые мастера, закончив, не могли отличить от Венеры Её длинные тёмные ресницы были плотно прижаты к щекам; лицо безмятежно-спокойно: желудочек, по-видимому, совсем наладился И в полумраке комнаты старый Джолион стоял и поклонялся ей. Такое прелестное, серьёзное, любящее личико! Он больше, чем кто-либо другой, обладал великим умением снова жить в детях. В них он видел свою будущую жизнь — другой будущей жизни, вероятно, и не признавала его здоровая натура язычника. Вот она перед ним, и все у неё впереди, и его

кровь — доля его крови — в её крошечных жилках. Вот она, его дружок, для счастья которой он готов сделать что угодно, лишь бы она не знала ничего, кроме любви. Сердце его переполнилось, и он вышел, стараясь не скрипеть лакированными башмаками. В коридоре у него возникла нелепая мысль. Подумать только, что дети приходят к тому, что теперь Ирэн, по её словам, старается облегчить. Женщины, которые все когда-то были малышками, как та, что спит там, в детской! «Нужно дать ей чек, — размышлял он, — сил нет о них думать». Он никогда не выносил мысли о них, бедных париях; слишком глубоко это задевало истинно благородное нутро, скрытое под толстым слоем подчинения чувству собственности, слишком больно задевало самое святое, что у него было: любовь к прекрасному, от которой у него и сейчас замирало сердце, когда он думал о предстоящем ему вечере в обществе красивой женщины. И он пошёл вниз и через вертящуюся дверь в задние апартаменты. Там, в винном погребе, у него было вино. Стоившее не меньше двух фунтов бутылка, «Стейнберт Кэбинет», лучше всякого рейнвейна; вино с идеальным букетом, вкусное, как персик, настоящий нектар. Он достал бутылку, прикасаясь к ней осторожно, как к младенцу, и поднял её на свет. Окутанная слоем пыли, эта сочного цвета, с тонким горлышком бутылка доставляла ему глубокую радость. За три года с переезда из Лондона достаточно устоялось — должно быть, превосходное! Тридцать пять лет, как он купил его, слава богу, он не потерял вкуса и заслужил право выпить. Она оценит такое вино — ни тени кислоты в нём. Он вытер бутылку, собственноручно раскупорил её, наклонился к ней носом, вдохнул аромат и пошёл обратно в гостиную.

Ирэн стояла у рояля. Она сняла шляпу и кружевной шарф, так что теперь были хорошо видны её золотистые волосы и бледная шея. В сером платье, у рояля палисандрового дерева — старый Джолион залюбовался ею.

Он подал ей руку, и они торжественно двинулись в столовую. В этой комнате, где во время обеда без труда размещалось «двадцать четыре человека, стоял теперь только небольшой круглый стол. Большой обеденный стол угнетающе действовал на оставшегося в одиночестве старого Джолиона; он велел его убрать до возвращения сына. Здесь, в обществе двух превосходных копий с мадонн Рафаэля, он обычно обедал один. В то лето это был единственный безрадостный час его дня. Он никогда не ел особенно много, как великан Суизин, или Сильванос Хэйторп, или Антони Торнуорси — приятели прошлых лет; и обедать одному, под взглядом мадонн, было грустным занятием, которое он кончал как можно скорее, чтобы перейти к более духовному наслаждению кофе и сигарой. Но сегодняшний вечер — другое дело. Он посматривал через стол на Ирэн и говорил об Италии и Швейцарии, рассказывал ей о своих путешествиях и о других случаях из своей жизни, которые уже нельзя было рассказывать сыну и внучке, потому что они их знали. Он радовался, что теперь было кому послушать. Он не стал одним из тех стариков, которые кружат и кружат все по тем же воспоминаниям. Быстро утомляясь от разговора бестактных людей, он сам инстинктивно избегал утомлять других, а врождённое рыцарство заставляло его быть особенно осторожным с женщинами. Ему хотелось вызвать её на разговор, но, хотя она отвечала и улыбалась и как будто с удовольствием слушала его рассказы, он не переставал чувствовать ту таинственную замкнутость, в которой заключалась большая доля её привлекательности. Он не терпел женщин, которые выставляют напоказ глаза и плечи и болтают без умолку; или суровых женщин, которые всеми командуют и делают вид, что все знают. Он поддавался только на одно женское свойство — обаяние, и чем спокойнее оно было, тем больше он ценил его. А в Ирэн было обаяние, неуловимое, как вечернее солнце на итальянских холмах и долинах, которые он так любил когда-то. И от сознания, что она живёт одна и замкнуто, она словно делалась ему ближе, как необъяснимо желанный друг. Когда человек очень стар и отстал безнадежно, ему приятно чувствовать себя в безопасности от посягательств молодых соперников, ибо он всё ещё хочет быть первым в сердце прекрасной. И он пил вино и смотрел на её губы, и чувствовал себя почти молодым. А пёс Балтазар лежал и тоже смотрел на её губы и в душе презирал перерывы в их беседе и движение зеленоватых бокалов с золотистым напитком, который был ему глубоко противен.

Начинало темнеть, когда они вернулись в гостиную. И, не выпуская изо рта сигары, старый Джолион сказал:

— Сыграйте мне Шопена.

По тому, какие человек курит сигары и каких композиторов любит, можно узнать, из чего соткана его душа. Старый Джолион не выносил крепких сигар и музыки Вагнера. Он любил Бетховена и Моцарта, Генделя и Глюка, и Шумана, и, совсем непонятно почему, — оперы Мейербера. Но за последние годы он поддался чарам Шопена, так же как в живописи не устоял перед Боттичелли. Увлекаясь новыми любимцами, он сознавал, что отходит от мерила Золотого века. Новая поэзия уже не была поэзией Мильтона, и Байрона, и Теннисона, Рафаэля и Тициана, Моцарта и Бетховена. Она была словно в дымке; эта Поэзия никому не бросалась в глаза, но проникала пальцами под ребра, и крутила, и тянула, и растопляла сердце. И, не зная наверное, полезно ли это, он не задумывался, лишь бы слушать музыку первого и смотреть на картины второго.

Ирэн села к роялю под электрической лампой с жемчужно-серым абажуром, а старый Джолион опустился в Кресло, откуда ему было видно её, положил ногу на ногу и медленно затянулся сигарой. Она сидела несколько минут, опустив пальцы на клавиши, по-видимому обдумывая, что бы сыграть ему. Потом она заиграла, и в душе старого Джолиона возникла грустная радость, ни с чем на свете не сравнимая. Им постепенно овладело оцепенение, прерываемое только движением его руки, изредка вынимавшей изо рта сигару и снова водворявшей её на место. Было это и от присутствия Ирэн, и от выпитого вина, и от запаха табака; но был ещё и мир, где солнечный свет сменился лунным; и пруды с аистами, осенённые синеватыми деревьями с горящими на них розами, красными, как вино, и поля мяты, где паслись молочно-белые коровы, и женщина, как призрак, с тёмными глазами и белой шеей, улыбалась и протягивала руки; и по воздуху, подобному музыке, скатилась звезда и зацепилась за рог коровы. Он открыл глаза. Прекрасная вещь; она хорошо играет — ангельское туше! И он снова закрыл глаза. Он ощущал невероятную грусть и счастье, как бывает, когда стоишь под липой в полном медвяном цвету. Не жить своей жизнью, просто таять в улыбке женских глаз и впивать её аромат! И он отдернул руку, которую пёс Балтазар неожиданно лизнул.

— Прекрасно, — сказал он, — продолжайте, ещё Шопена!

Она опять заиграла. Теперь его поразило сходство между нею и музыкой Шопена. Покачивание, которое он заметил в её походке, было и в её игре, и в выбранном ею ноктюрне, и в мягкой тьме её глаз, и в свете, падавшем на её волосы, словно свет золотой луны. Соблазнительна, да; но нет ничего от Далилы ни в ней, ни в этой музыке. Длинная синяя лента, крутясь, поднялась от его сигары и растаяла. «Так вот и мы исчезнем, — подумал он. — И не будет больше красоты. Ничего не будет?»

Снова Ирэн перестала играть.

— Хотите Глюка? Он писал свои вещи в залитом солнцем саду, а рядом с ним стояла бутылка рейнвейна.

— А, да! Давайте «Орфея».

Теперь вокруг него расстились поля золотых и серебряных цветов, белые фигуры двигались в солнечном свете, порхали яркие птицы. Во всём было лето. Волны сладкой тоски и сожаления заливали его душу, С сигары упал пепел, и, доставая шёлковый носовой платок, чтобы смахнуть его, он вдохнул смешанный запах табака и одеколона. «А, — подумал он, — молодость вспомнилась — вот и все!» И он сказал:

— Вы не сыграли мне «Che fago»⁵.

Она не ответила; не шевельнулась. Он смутно почувствовал что-то — какое-то странное смятение. Вдруг он увидел, что она встала и отвернулась, и раскаянье обожгло его. Какой он медведь! Ведь, подобно Орфею, и она, без сомнения, искала погибшего в чертогах воспоминаний. И, глубоко расстроенный, он встал с кресла. Она отошла к большому окну в

дальнем конце комнаты. Он тихонько последовал за ней. Она сложила руки на груди, ему была видна её щека, очень бледная. И, совсем расчувствовавшись, он сказал:

— Ничего, ничего, родная! Слова эти вырвались у него невольно, ими он всегда утешал Холли, когда у неё что-нибудь болело, но действие их было мгновенно и потрясающе. Она разняла руки, спрятала в ладони лицо и расплакалась.

Старый Джолион стоял и глядел на неё глубоко запавшими от старости глазами. Отчаянный стыд, который она, видимо, испытывала от своей слабости, так не вязавшейся со сдержанностью и спокойствием всего её поведения, казалось, говорил, что она никогда ещё не выдавала себя в присутствии другого человека.

— Ну, ничего, ничего, — приговаривал он и коснулся её почтительно протянутой рукой.

Она повернулась и прислонилась к нему, не отрывая ладоней от лица. Старый Джолион стоял очень тихо, не снимая худой руки с её плеча. Пусть выплачется — ей легче станет! А озадаченный пёс Балтазар уселся на задние лапы и разглядывал их.

Окно ещё было открыто, занавески не задёрнуты, Остатки дневного света снаружи сливались со светом лампы; пахло свежескошенной травой. Умудрённый долгою жизнью, старый Джолион молчал. Даже большое горе выплачется со временем — только время залечит печаль, Время — великий целитель. На ум ему пришли слова: «Как лань желает к потокам воды», но он не знал, зачем они ему. Потом, уловив запах фиалок, он понял, что она вытирает глаза. Он выдвинул подбородок, прижался усами к её лбу и почувствовал, что она вздрогнула всем телом, как дерево, когда стряхивает с ветвей дождевые капли. Она поднесла его руку к губам, словно говоря: «Все прошло. Простите меня!»

От поцелуя ему почему-то стало легче; он повёл её назад к роялю. И пёс Балтазар пошёл следом и положил к их ногам кость от одной из съеденных ими котлет.

Желая как можно скорее сгладить память об этой минуте, он не мог придумать ничего лучше фарфора; и, переходя с ней от одного шкафчика к другому, он вынимал образцы изделий Дрездена, Лоустофта и Челси и поворачивал их в тонких жилистых руках, кожа на которых, покрытая редкими веснушками, выглядела очень старой.

— Вот это я купил у Джобсона, — говорил он, — заплатил тридцать фунтов. Очень старая. Везде эта собака раскидывает кости! Этот старый бокал мне попался на аукционе, когда достукался распутник маркиз. Впрочем, вы этого не можете помнить. Вот хороший образчик Челси. Ну, а как вы думаете, вот это что?

И ему было приятно, что женщина с таким вкусом заинтересовалась его сокровищами, ибо в конце концов ничто не успокаивает нервы лучше, чем фарфор неуставленного происхождения.

Когда, наконец, под окном зашуршали колеса экипажа, он сказал:

— Непременно приезжайте ещё; приезжайте к завтраку, тогда увидите их при дневном свете, и мою детку увидите — она милая крошка. Собака к вам, видно, благоволит.

Балтазар, чувствуя, что она уезжает, тёрся боком о её ногу. Провожая её на крыльце, старый Джолион сказал:

— Он доведёт вас в час с четвертью. Вот вам для ваших протезе. — И он сунул ей в руку чек на пятьдесят фунтов.

Он видел, как заблестели её глаза, услышал её тихое: «О дядя Джолион!» — и все в нём вздрогнуло от удовольствия. Это значило, что одно-два бедных создания получают какую-то помощь, и это значило, что она приедет ещё. Он заглянул в экипаж и ещё раз пожал ей руку. Ландо покатилося. Он стоял и смотрел на луну и на тени деревьев и думал: «Чудесная ночь! Она!..»

II

Два дня дождя, и установилось лето, ясное, солнечное. Старый Джолион гулял и беседовал с Холли. Сначала он чувствовал себя словно выросшим и полным новых сил,

потом ощутил беспокойство. Почти каждый день они ходили в рощу и доходили до упавшего дерева. «Ну что ж, её нет, — думал он, — конечно, нет». И тогда ему казалось, что он стал ниже ростом, и, с трудом передвигая ноги, он шёл в гору к дому, прижав руку к левому боку. Иногда у него являлась мысль: «Приезжала она или мне это приснилось?» И он устремлял взгляд в пустоту, а пёс Балтазар устремлял взгляд на него. Конечно, она больше не придет! Он уже без прежнего интереса вскрывал письма из Испании. Они решили вернуться только в июле; как ни странно, он чувствовал, что это не так уж трудно пережить. Каждый день за обедом он скашивал глаза и смотрел на то место, где она тогда сидела. Её там не было, и глаза его опять смотрели прямо.

На седьмой день он подумал: «Надо съездить в город заказать башмаки». Велел Бикону подавать и отправился. Между Пэтни и Хайд-парком он подумал: «Можно бы заехать в Челси навестить её». И крикнул кучеру:

— Заезжайте, куда вечером отвозили даму.

Кучер обернул к нему своё широкое красное лицо, и его толстые губы ответили:

— Даму в сером, сэр?

— Да, даму в сером.

Какие же ещё могут быть дамы! Болван!

Коляска остановилась перед небольшим трехэтажным домом, стоявшим немного отступя от реки. Опытным глазом старый Джолион увидел, что квартиры в нём дешёвые. «Фунтов шестьдесят в год», — прикинул он и, войдя в подъезд, стал читать фамилии на дощечке. Фамилии Форсайт не было, но против слов: «Второй этаж, квартира С», значилось: «Миссис Ирэн Эрон». А, она опять носит девичью фамилию! Ему это почему-то понравилось. Он медленно пошёл по лестнице, бок побаливал. Он постоял, прежде чем звонить, чтобы улеглось ощущение подёргивания и трепыхания. Не будет её дома! А тогда — башмаки! Мрачная мысль! Зачем ему ещё башмаки в его возрасте? Ему и своих-то всех не сносить.

— Хозяйка дома?

— Да, сэр.

— Доложите: мистер Джолион Форсайт.

— Сейчас, сэр, пройдите, пожалуйста, сюда.

Старый Джолион последовал за очень молоденькой горничной — лет шестнадцати, не больше — в очень маленькую гостиную со спущенными шторами. В ней было пианино, а больше почти ничего, если не считать неясного аромата и хорошего вкуса. Он стоял посередине, держа в руке цилиндр, и думал: «Нелегко ей, видно, живётся!» Над камином висело зеркало, и он увидел своё отражение. Ох, как стар! Послышался шелест, он обернулся. Она была так близко, что усы его чуть не задели её лба, как раз там, где начинались серебряные нити в волосах.

— Я был в городе, — сказал он. — Подумал, загляну к вам, узнаю, как вы тогда доехали.

И при виде её улыбки он почувствовал внезапное облегчение. Может быть, она и вправду рада его видеть.

— Хотите, наденьте шляпу, покатаемся в парке?

Но когда она ушла надевать шляпу, он нахмурился. Парк! Джеме и Эмили! Жена Николаев или кто другой из членов его милого семейства уж наверное там, разъезжают взад и вперёд. А потом пойдут болтать о том, что видели его с ней. Лучше не нужно! Он не желал воскрешать на Форсайтской Бирже отзвуки прошлого. Он снял седой волос с отворота застёгнутого на все пуговицы сюртука и провёл рукой по щеке, усам и квадратному подбородку. Под скулами прощупывались глубокие впадины. Он мало ел последнее время, надо попросить этого шарлатана, который лечит Холли, прописать ему что-нибудь подкрепляющее. Но Ирэн была готова, и, сидя в коляске, он сказал:

— А может, лучше посидим в Кенсингтонском саду? — и прибавил, подмигивая: — Там-то никто не разъезжает взад и вперёд, — как будто она уже была посвящена в его

мысли.

Они вышли из коляски, вступили на эту территорию для избранных⁶ и направились к пруду.

— Вы, я вижу, снова под девичьей фамилией, — сказал он. — Это неплохо.

Она взяла его под руку:

— Джун простила мне, дядя Джолион?

Он ответил мягко:

— Да, да, конечно, как же иначе?

— А вы?

— Я? Я простил вам, едва только понял, как, собственно, обстоит дело.

И он, возможно, говорил правду: он всегда был душой на стороне красоты.

Она глубоко вздохнула.

— Я никогда не жалела, не могла. Вы когда-нибудь любили очень сильно, дядя Джолион?

Услышав этот странный вопрос, старый Джолион устремил взгляд в пространство. Любил ли? Да как будто и нет. Но ему не хотелось говорить этого молодой женщине, чья рука касалась его локтя, чью жизнь словно приостановила память о несчастной любви. И он подумал: «Если бы я встретил вас, когда был молод, я... я, возможно, и наделал бы глупостей». Ему захотелось укрыться за обобщениями.

— Любовь — странная вещь, — сказал он. — Часто роковая. Ведь это греки — не правда ли? — сделали из любви богиню; и они, вероятно, были правы, но ведь они жили в Золотом веке.

— Фил обожал их.

«Фил!» Это слово резнуло его, — способность видеть вещи со всех сторон вдруг подсказала ему, почему она им не тяготеет. Ей хотелось говорить о своём возлюбленном! Что ж, если это доставляет ей удовольствие! И он сказал:

— А он, наверно, понимал толк в скульптуре.

— Да. Он любил равновесие и пропорции, любил греков за то, как они без остатка отдавались искусству.

Равновесие! Насколько он помнил, этот молодой человек был совсем не уравновешенный; что касается пропорций... фигура у него была, конечно, хорошая, но эти странные глаза и выдающиеся скулы... пропорции?

— Вы тоже из Золотого века, дядя Джолион.

Старый Джолион оглянулся на неё. Что она, смеётся над ним? Нет, глаза её были мягки, как бархат. Льстит ему? Но зачем? С такого старика, как он, взять нечего.

— Фил так думал. Он всегда говорил: «Но я никак не могу ему сказать, что восхищаюсь им».

А, вот оно опять. Её погибший возлюбленный; желание говорить о нём. И он пожал ей руку, отчасти обиженный этими воспоминаниями, отчасти благодарный, точно сознавая, как они связывают его с нею.

— Очень талантливый молодой человек был, — проговорил он. — Жарко, на меня жара теперь действует. Давайте посидим.

Они сели на стулья под каштаном, широкие листья которого защищали их от тихого сияния вечера. Приятно сидеть здесь, и смотреть на неё, и чувствовать, что ей хорошо с ним. И желание, чтобы ей стало ещё лучше, заставило его продолжать.

— Вы, вероятно, знали его с такой стороны, какую я не мог видеть. Вам он показал лучшее, что в нём было. Его взгляды на искусство казались мне немного... новыми, — он чуть не сказал: «новомодными».

— Да, но он говорил, что вы понимаете толк в красоте.

Старый Джолион подумал: «Говорил он, как же!» Но ответил, подмигивая:

— Ну что ж, он был прав, а то я бы не сидел здесь с вами.

Очаровательна она, когда улыбается вот так, глазами.

— Он говорил, что у вас сердце из тех, что никогда не старятся. Фил замечательно разбирался в людях.

Старый Джолион не обманывался этой лестью, звучащей из прошлого, вызванной желанием говорить об умершем, — совсем нет; и всё же он жадно ловил её слова, ибо Ирэн радовала его взоры и сердце, которое — совершенно верно — так и не состарилось. Потому ли, что, не в пример ей и её мёртвому возлюбленному, он никогда не любил до отчаяния, всегда сохранял равновесие и чувство пропорций? Что же, зато в восемьдесят пять лет он ещё способен наслаждаться красотой! И он подумал: «Будь я художником или скульптором!.. Но я старик. Надо жить, пока можно!»

Двое, обнявшись, прошли по траве перед ними, по краю тени от каштана. Солнце безжалостно освещало их бледные, помятые молодые лица.

— Некрасивое создание человек, — сказал вдруг старый Джолион. — Поражает меня, как любовь это преодолагает.

— Любовь все преодолагает.

— Так молодые думают, — сказал он тихо.

— У любви нет возраста, нет предела, нет смерти.

Её бледное лицо светилось, грудь подымалась, глаза такие большие, и тёмные, и мягкие — прямо ожившая Венера! Но эта шальная мысль сейчас же вызвала реакцию, и он сказал, подмигивая:

— Да, если б у неё были пределы, мы бы и на свет не родились. Ведь ей, честное слово, ставится немало препятствий.

Потом, сняв цилиндр, старый Джолион провёл по нему манжетой. Большой и нескладный, он нагрел ему лоб; эти дни у него часто бывали приливы крови к голове — кровообращение уже не то, что было.

Она все сидела, глядя прямо перед собой, и вдруг проговорила еле слышно:

— Странно, как это я ещё жива! Слова Джо «загнанная, потерянная» пришли ему на память.

— А-а, — сказал он, — мой сын видел вас мельком в тот день.

— Это был ваш сын? Я слышала голос в холле; на секунду я подумала, что это — Фил. Старый Джолион видел, что у неё задрожали губы.

Она поднесла к ним руку, опять отняла её и продолжала спокойно:

— В ту ночь я пошла к реке; какая-то женщина схватила меня за платье. Рассказала мне о себе. Когда узнаешь, что приходится выносить другим, становится стыдно.

— Одна из тех? Она кивнула, и в душе старого Джолиона зашевелился ужас, ужас человека, никогда не знавшего, что значит бороться с отчаянием. Почти против воли он сказал:

— Расскажите мне, хорошо?

— Мне было все равно — жить или умереть. А когда дойдёшь до такого, судьбе уж и не хочется тебя убивать. Эта женщина ухаживала за мной три дня, не отходила от меня. Денег у меня не было. Вот я теперь и делаю для них, что могу.

Но старый Джолион думал: «Не было денег!» Что может сравниться с такой участью? С этим и всё остальное связано.

— Напрасно вы не пришли ко мне, — сказал он. — Почему?

Ирэн не ответила.

— Потому что моя фамилия Форсайт, наверно? Или Джун не хотели встретить? А теперь как ваши дела?

Он невольно окинул глазами её фигуру. Может быть, она и теперь... но нет, она не худая, право же нет.

— О, ведь у меня пятьдесят фунтов в год, как раз хватает.

Ответ не удовлетворил его; уверенность пропала. Уж этот Соме! Но чувство

справедливости заглушило обвиняющий голос. Нет, она, конечно, скорее умрёт, чем согласится принять хоть что-нибудь от него. Это ничего, что она такая мягкая, в ней, наверное, скрыта сила, сила и верность. И нужно же было этому Босини дать себя раздавить и оставить её на мели!

— Ну, теперь уж вы должны прийти ко мне, если вам что-нибудь понадобится, — сказал он, — а то я совсем обижусь, — и он встал, надевая цилиндр. — Пойдёмте выпьем чаю. Я велел этому лентяю дать лошадям час отдохнуть и заехать за мною к вам. Сейчас возьмём кэб; я уже не могу столько ходить, как раньше.

Хорошо было пройтись до дальнего конца сада — звук её голоса, взгляд её глаз, тонкая красота прелестной женщины двигались рядом с ним. Хорошо было выпить чаю у Раффела на Хай-стрит, — он вышел оттуда с большой коробкой конфет, нацепленной на мизинец. Хорошо было ехать назад в Челси в наёмной карете, покуривая сигару. Она обещала приехать в следующее воскресенье и снова играть ему, и мысленно он уже рвал гвоздику и ранние розы, чтобы дать их ей с собой в Лондон. Приятно было сделать ей приятное, если только это приятно от такого старика. Коляска уже ждала его, когда они приехали. Ведь вот человек! А когда его ждёшь — всегда опаздывает! Старый Джолион зашёл на минутку проститься. В маленькой тёмной передней её квартирки стоял неприятный запах пачули; и на скамейке у стены — другой мебели не было — он заметил сидящую фигуру. — Он слышал, как Ирэн тихо сказала: «Сию минуту». В маленькой гостиной, когда двери были закрыты, он серьёзно спросил:

— Одна из ваших протезе?

— Да. Теперь, благодаря вам, я могу кое-что для неё сделать.

Он стоял, глядя перед собой и поглаживая подбородок, мощь которого столько в своё время отпугивала. Мысль, что она так близко соприкасается с этой несчастной, огорчала его и пугала. Чем она может им помочь? Ничем! Только сама может запачкаться и нажать неприятностей. И он сказал:

— Будьте осторожны, дорогая. Люди готовы что угодно истолковать в самом худшем смысле.

— Это я знаю.

Он отступил перед её спокойной улыбкой.

— Так, значит, в воскресенье, — сказал он. — До свидания!

Она подставила ему щеку для поцелуя.

— До свидания, — повторил он, — берегите себя.

И он вышел, не оглядываясь на фигуру у стены. Домой он поехал через Хэммерсмит, решив зайти в знакомый магазин и распорядиться, чтобы ей послали две дюжины их лучшего бургундского. Ей, верно, нужно бывает иногда подкрепиться. Только в Ричмонд-парке он вспомнил, что поехал в город заказывать башмаки, и удивился, как такая нелепая мысль могла прийти ему в голову.

III

Лёгкие феи прошлого, которые роем вьются вокруг стариков, никогда ещё не тревожили старого Джолиона так мало, как в течение этих семидесяти часов, отделявших его от воскресенья. Зато улыбалась ему фея будущего, оваянная обаянием неизвестности. Теперь старый Джолион не тревожился и не ходил навещать упавшее дерево, потому что она обещала приехать к завтраку. Есть что-то необычайно успокоительное в еде. Сговоришься позавтракать вместе — и уляжется целый ворох сомнений, ибо никто не пропустит обеда или завтрака, если не будет на то совсем особых причин. Он часто играл с Холли в крикет на лужайке, подавал ей мячи, а она била, готовясь в свою очередь на каникулах подавать их Джолли. Ибо в ней было мало форсайтского, а в Джолли — бездна, а Форсайты всегда бьют, пока не выйдут в отставку и не доживут до восьмидесяти пяти лет. Пёс Балтазар, неизменно находившийся тут же, когда только успевал, ложился на мяч, а мальчик-слуга бегал за

мячами, пока лицо у него не начинало сиять, как полная луна. И потому, что ждать оставалось все меньше, каждый день был длиннее и лучезарнее предыдущего. В пятницу вечером он принял пилюлю от печени — бок давал себя чувствовать, — и хотя болело не с той стороны, где печень, все же он считал, что нет лучшего лекарства. Всякий, кто сказал бы ему, что он нашёл себе в жизни новый повод для волнения и что волнение ему вредно, встретил бы твёрдый, несколько вызывающий взгляд его темно-серых глаз, словно говоривших: «Я знаю, что делаю». Так всегда было, так и останется.

В воскресенье утром, когда Холли с гувернанткой ушли в церковь, он направился к грядкам клубники. Там, в сопровождении пса Балтазара, он внимательно осмотрел кусты и разыскал ягод двадцать, не меньше, совсем спелых. Ему было вредно нагибаться, сильно закружилась голова, кровь прилила к вискам. Положив клубнику на блюде, он оставил её на обеденном столе, вымыл руки и смочил лоб одеколоном. Здесь, перед зеркалом, он как-то вдруг заметил, что похудел. Какой «щепкой» он был в молодости! Приятно быть стройным — он не выносил толстяков; и всё же щеки у него, пожалуй, уж очень впалые. Она должна была приехать поездом в половине первого и прийти пешком со станции по дороге мимо фермы Гейджа, с той стороны рощи. И, заглянув в комнату Джун, чтобы убедиться, приготовлена ли горячая вода, он отправился встречать её не спеша, так как чувствовал сердцебиение. Воздух был душистый, пели жаворонки, Эпсомский ипподром был ясно виден. Чудный день! В точно такой день, вероятно, шесть лет назад Соме привёз сюда молодого Босини, чтобы посмотреть на участок, где предстояло начать постройку. Босини и выбрал окончательно, где строить дом, — это он не раз слышал от Джун. Эти дни он много думал о молодом архитекторе, словно дух его и правда витал над местом его последней работы в надежде увидеть её. Босини — единственный, кто владел её сердцем, кому она всю себя отдала с упоением. В восемьдесят пять лет невозможно было, конечно, представить себе все это, но в старом Джолионе шевелилась странная, смутная боль, как призрак беспредметной ревности; и другое чувство, более великодушное — жалость к этой так скоро погибшей любви. Каких-то несколько месяцев — и конец! Да, да. Он взглянул на часы, прежде чем войти в рощу: только четверть первого, ещё двадцать пять минут ждать. А потом тропинка свернула, и он увидел её на том же месте, где и в первый раз, на упавшем дереве, и понял, что она приехала более ранним поездом, чтобы побыть здесь одной часа два — ну конечно, не меньше. Два часа в её обществе — потеряны! За какие воспоминания она так любит это дерево? Лицо его выдало эту мысль, потому что она сейчас же сказала:

— Простите меня, дядя Джолион. Здесь я в первый раз узнала...

— Да, да, тут оно и останется, приходите, когда захочется. Вид у вас неважный, слишком много уроков даёте.

Его тревожило, что ей приходится давать уроки. Обучать каких-то девчонок, барабанящих гаммы толстыми пальцами!

— А где вы их даёте? — спросил он.

— К счастью, почти все в еврейских семьях.

Старый Джолион удивился: в глазах всех Форсайтов евреи — странные и подозрительные люди.

— Они любят музыку, и они очень добрые.

— Попробовали бы они, чёрт возьми, не быть добрыми, — он взял её под руку — бок у него всегда побаливал на подъёме — и сказал: — Видели вы что-нибудь лучше этих лютиков? За одну ночь распустились.

Её глаза, казалось, летали над лугом, как пчелы в поисках цветов и мёда.

— Я хотел, чтобы вы их посмотрели, не велел выгонять сюда коров, потом, вспомнив, что она приехала разговаривать о Босини, указал на башенку с часами, возвышавшуюся над конюшней: — Он, вероятно, не позволил бы мне это устроить. Насколько я помню, он не знал счета времени.

Но она, прижав к себе его руку, вместо ответа заговорила о цветах, и он понял её умысел — не дать ему почувствовать, что она приехала говорить об умершем.

— Самый лучший цветок, какой я вам могу показать, — сказал он с каким-то торжеством, — это моя детка. Она сейчас вернётся из церкви. В ней есть что-то, что немного напоминает мне вас, — он не увидел ничего особенного в том, что выразил свою мысль именно так а не сказал: «В вас есть что-то, что немного напоминает мне её». — А, да вот и она!

Холли, опередив пожилую гувернантку-француженку, пищеварение которой испортилось двадцать два года назад во время осады Страсбурга⁷, со всех ног бежала к ним от старому дуба. Шагах в двадцати она остановилась погладить Балтазара, делая вид, что только для этого и бежала. Старый Джолион, который видел её насквозь, сказал:

— Ну, моя маленькая, вот тебе обещанная дама в сером.

Холли выпрямилась и посмотрела на гостью. Он наблюдал за ними обеими, посмеиваясь глазами; Ирэн улыбалась, на лице Холли серьёзная пытливость тоже сменилась робкой улыбкой, потом чем-то более глубоким. Она чувствует красоту, эта девочка, понимает толк в вещах! Хорошо было видеть, как они поцеловались.

— Миссий Эрон, *mam'zelle* Бос. Ну, *mam'zelle*, как проповедь?

Теперь, когда ему оставалось так мало времени жить, единственная часть богослужения, связанная с земной жизнью, поглощала весь оставшийся у него интерес к церкви *Mam'zelle* Бос протянула похожую на паука ручку в чёрной лайковой перчатке — она жила в самых лучших домах, — печальные глаза на её тощем желтоватом лице, казалось, спрашивали: «А вы хорошо воспитаны?» Каждый раз, как Холли или Джолли чем-нибудь ей не угождали а случалось это нередко, — она говорила им: «Маленькие Тэйлоры никогда так не делали, такие хорошо воспитанные были детки!» Джолли ненавидел маленьких Тэйлоров; Холли ужасно удивлялась, как это ей все не удаётся быть такой же, как они. «Чудачка эта *mam'zelle* Бос», — думал о ней старый Джолион.

Завтрак прошёл удачно; из шампиньонов, которые он сам выбирал в теплице, из собранной им клубники и ещё одной бутылки «Стейнберг Кэбинет» он почерпнул какое-то ароматное вдохновение и уверенность, что завтра у него будет лёгкая экзема. После завтрака они сидели под старым дубом и пили турецкий кофе. Старый Джолион не очень огорчился, когда мадемуазель Бос удалилась к себе в комнату писать воскресное письмо сестре, которая в прошлом чуть не погубила своё будущее, проглотив булавку, о чём ежедневно сообщалось детям в виде предостережения, чтобы они ели медленно и не забывали как следует жевать. На нижней лужайке, на пледе. Холли и пёс Балтазар Дразнили и ласкали друг друга, а в тени старый Джолион, положив ногу на ногу и наслаждаясь сигарой, смотрел на сидящую на качелях Ирэн. Лёгкая, чуть покачивающаяся серая фигура в редких солнечных пятнах, губы полуоткрыты, глаза тёмные и мягкие под слегка опущенными веками. У неё был довольный вид. Конечно же, ей полезно приезжать к нему в гости! Старческий эгоизм ещё не настолько завладел им, чтобы он не умел найти удовольствие в чужой радости. Он признавал, что его желание — это хоть и много, но не все.

— Здесь очень тихо, — сказал он, — вы не приезжайте, если вам скучно. Но видеть вас мне радостно. Из всех лиц только лицо моей детки доставляет мне радость и ваше.

По её улыбке он понял, что ей не совсем безразлично, когда ею любят, и это придало ему уверенности.

— Это не слова, — сказал он, — я никогда не говорил женщине, что она мне нравится, если этого не было. Да я и не знаю, когда вообще говорил женщине, что она мне нравится, разве только в давние времена жене. А жены странный народ. — Он помолчал, потом вдруг опять заговорил: — Ей хотелось слышать это от меня чаще, чем я это чувствовал, вот что тут подделаешь! — На её лице отразилось какое-то смятение. И, испугавшись, что сказал что-то неприятное, он заторопился: — Когда моя детка выйдет замуж, надеюсь, ей попадётся человек, понимающий чувства женщины. Я-то до этого не доживу, но очень уж много сейчас несуразного в браке; не хочется мне, чтоб она с этим столкнулась. — И, чувствуя, что только

ухудшил дело, он добавил: — И когда эта собака перестанет чесаться!

Последовало молчание. О чём она думает, эта прелестная женщина с изломанной жизнью, покончившая с любовью, но созданная для любви? Когда-нибудь, когда его уже не будет, она, может быть, найдёт другого спутника жизни — не такого беспорядочного, как этот молодой человек, который дал себя переехать. Да, но её муж?

— Соме никогда вам не докучает? — спросил он.

Она покачала головой. Лицо её сразу замкнулось. При всей её мягкости в ней было что-то непреклонное. И словно луч света, озаривший всю непреодолимость половой антипатии, пронизал сознание человека, воспитанного на культуре ранней эпохи? Виктории, такой далёкой от новой культуры его старости, — человека, никогда не задумывавшегося о таких простых вещах.

— И то хорошо, — сказал он. — Сегодня виден ипподром. Хотите, пройдемся?

Он провёл её по цветнику и фруктовому саду, где у высоких стен грелись на солнце шпалеры персиков; мимо коровника, в оранжерею, в теплицу с шампиньонами, мимо грядок со спаржей, в розарий, в беседку — даже в огород посмотреть зелёный горошек, из стручков которого Холли так любила выскрести пальцем горошинки, чтобы слизнуть их потом со своей смуглой ладони. Много чудесных вещей он ей показал, а Холли и пёс Балтазар носились вокруг, время от времени подбегая к ним и требуя внимания. Это был один из счастливейших дней его жизни, но он утомился и был рад, когда, наконец, уселся в гостиной и она налила ему чаю. К Холли пришла подруга — блондинка с короткими, как у мальчика, волосами. Они резвились где-то в отдалении, под лестницей, на лестнице и на верхней галерее. Старый Джолион попросил Шопена. Она играла этюды, мазурки, вальсы, и девочки тихонько подошли и стали у рояля — слушали, наклонив вперёд тёмную и золотую головки. Старый Джолион наблюдал за ними.

— Ну-ка вы, потанцуйте.

Они начали робко, не в такт. Подскакивая и кружась, серьёзные, не очень ловкие, они долго двигались перед его креслом под музыку вальса. Он смотрел на них и на лицо игравшей, с улыбкой обращённое к маленьким балеринам, и думал: «Давно не видал такой прелестной картинки!» Послышался голос:

— Hollee! Mais enfin — qu'est eë que tu fais la — danser, le dimanche! Viens done! 8

Но девочки подошли к старому Джолиону, зная, что он не даст их в обиду, и глядели ему в лицо, на котором было ясно написано: «Попались!»

— В праздник-то ещё лучше, mam'zelle. Это я виноват.

Ну, бегите, цыплята, пейте чай.

И когда они ушли вместе с псом Балтазаром, которому тоже полагалось есть четыре раза в день, он посмотрел на Ирэн, подмигнул и сказал:

— Вот видите ли! А правда, милы? Среди ваших учениц есть маленькие?

— Да, целых три — две из них прелесть.

— Хорошенькие?

— Очаровательные.

Старый Джолион вздохнул. Он был полон ненасытной любви ко всему молодому.

— Моя детка, — сказал он, — по-настоящему любит музыку; когда-нибудь будет музыканткой. Вы бы не могли сказать мне своё мнение о её игре?

— Конечно, с удовольствием.

— Вы бы не хотели... — но он удержался от слов «давать ей уроки».

Мысль, что она даёт уроки, была ему неприятна. А между тем тогда уж он видел бы её регулярно. Она встала и подошла к его креслу.

— Хотела бы, очень; но ведь есть Джун. Когда они возвращаются?

Старый Джолион нахмурился.

— Не раньше середины будущего месяца. А что из этого?

— Вы сказали, что Джун меня простила; но забыть она не могла, дядя Джолион.

Забыть! Должна забыть, если он этого хочет.

Но будто отвечая ему, Ирэн покачала головой.

— Вы же знаете, что нет; такое не забывается.

Опять это злосчастное прошлое! И он сказал обиженно и твёрдо:

— Ну посмотрим.

Он ещё больше часа говорил с ней о детях, о тысяче мелочей, пока не подали коляску, чтобы отвезти её домой. А когда она уехала, он вернулся к своему креслу и долго сидел в нём, поглаживая подбородок и щеки и в мыслях заново переживая весь день.

В тот вечер после обеда он прошёл к себе в кабинет и достал лист бумаги. Он не сразу начал писать, поднялся, постоял под шедевром «Голландские рыбацьи лодки на закате». Он думал не об этой картине, а о своей жизни. Он оставит ей что-нибудь в завещании; ничто так не могло взволновать тихие глубины его дум и памяти. Он оставит ей часть своего состояния, своих надежд, поступков, способностей и труда, которые это состояние создали; оставит ей часть всего того, что упустил в этой жизни, пройдя по ней здраво и твёрдо. Ах, а что же это он упустил? «Голландские рыбацьи лодки» не отвечали; он подошёл к стеклянной двери и открыл её, отстранив портьеру. Поднялся ветер; прошлогодний дубовый листок, чудом избегнувший метлы садовника, еле слышно постукивая и шелестя, тащился в полутьме по каменной террасе. Других звуков не было, до него доносился запах недавно политых гелиотропов. Пролетела летучая мышь. Какая-то птица чирикнула напоследок. И прямо над старым дубом зажглась первая звезда. Фауст в опере променял душу на несколько лет молодости. Неестественная выдумка! Невозможна такая сделка, в этом-то и трагедия. Нельзя снова стать молодым для любви и для жизни. Ничего не осталось, как только издали наслаждаться красотой, пока ещё можно, да отказать ей что-нибудь в завещании. Но сколько? И как будто не в состоянии произвести этот подсчёт, глядя в вольную тишину деревенской ночи, он повернулся и подошёл к камину. Вот его любимые бронзовые статуэтки: Клеопатра со змеей на груди; Сократ⁹; борзая, играющая со щенком; силач, сдерживающий коней. «Они-то не умрут, — подумал он, и у него защемило сердце. — У них ещё тысяча лет жизни впереди!»

«Сколько?» Что ж, во всяком случае достаточно, чтобы не дать ей состариться раньше срока, чтобы как можно дольше уберечь её лицо от морщин, а светлые волосы от губительной седины. Он, может быть, проживёт ещё лет пять. Ей к тому времени будет за тридцать. «Сколько?» В ней нет ни капли его крови. Верность образу жизни, который он вёл сорок лет, даже больше, с тех самых пор, как женился и основал это таинственное учреждение семью, подсказала ему осторожную мысль: не его кровь, ни на что не имеет права. Так значит, эта его затея — роскошь! Баловство, потакание стариковскому капризу, поступок слабоумного. Его будущее по праву принадлежит тем, в ком течёт его кровь, в ком он будет жить после смерти. Он отвернулся от статуэток и стоял, глядя на старое кожаное кресло, в котором выкурил не одну сотню сигар. И вдруг ему показалось, что в кресле сидит Ирэн — в сером платье, душистая, нежная, темноглазая, изящная, смотрит на него! Эх! Она и не думает о нём; только и думает, что о своём погибшем возлюбленном. Но она здесь, хочет она того или нет, и радуется его своей красотой и грацией. Какое он, старик, имеет право навязывать ей своё общество, какое имеет право приглашать её играть ему и позволять смотреть на себя — и все даром? Надо платить за удовольствия в этой жизни. «Сколько?» В конце концов, денег у него много, его сын и трое внуков не пострадают. Он заработал все сам, чуть не от первого пенни; может оставить их кому хочет, может позволить себе это скромное удовольствие. Он вернулся к бюро. «Так я и сделаю, — решил он. — Пусть их думают, что хотят! Так и сделаю».

Сколько? Десять тысяч, двадцать тысяч, сколько? Если бы только за эти деньги он мог купить один год, один месяц молодости! И, поражённый этой мыслью, он стал быстро

писать:

«Дорогой Хэринг, составьте к моему завещанию добавление такого содержания: „Завещаю племяннице моей Ирэн Форсайт, урождённой Ирэн Эрон, под коей фамилией она сейчас и живёт, пятнадцать тысяч фунтов, не подлежащих обложению налогом на наследство“.

Преданный вам Джолион Форсайт».

Запечатав конверт и наклеив марку, он опять подошёл к двери и глубоко вдохнул в себя ночной воздух. Было темно, но теперь светило много звёзд.

IV

Он проснулся в половине третьего, в час, когда — он это знал из долгого опыта — все тревожные мысли обостряются до безотчётного страха. По опыту он знал и то, что следующее пробуждение в нормальное время — в восемь часов — обнаруживает всю несостоятельность такой паники. В эту ночь новая страшная мысль быстро разрослась до невероятных размеров: ведь если он заболит, а это в его возрасте вполне возможно, он не увидит Ирэн. Отсюда был только шаг к догадке, что он лишится её и тогда, когда его сын и Джун вернутся из Испании. Как оправдать своё желание встречаться с женщиной, которая украла — рано утром в выражениях не стесняешься — украла у Джун жениха? Правда, он умер; но Джун такая упрямец, доброе сердце, но упряма, как пень, и — совершенно верно — не из тех, что забывают. К середине будущего месяца они вернутся. Всего каких-то пять недель ещё можно наслаждаться новым увлечением, которое появилось в его жизни, а ведь жить осталось немного. В темноте он до нелепости ясно понял своё чувство. Любоваться красотой — жадно искать того, что радует глаз. Смешно в его возрасте! А между тем какие же ещё у него причины подвергать Джун тяжёлым воспоминаниям и что сделать, чтобы его сын и жена сына не сочли» его уж очень странным? Ему останется только уезжать тайком в Лондон; это его утомляет; а малейшее недомогание лишит его и этой возможности. Он лежал с открытыми глазами, заранее вооружаясь против такой перспективы и обзывая себя старым дураком, а сердце его билось громко, а потом, казалось, совсем перестало биться. Прежде чем опять уснуть, он видел, как рассвет прочертил щели в занавесках, слышал, как защебетали и зачирикали птицы и замычали коровы, и проснулся усталый, но с ясной головой... Ещё пять недель можно не тревожиться, в его возрасте это целая вечность! Но предрассветная паника не прошла бесследно, она подхлестнула волю человека, который всю жизнь поступал по-своему. Он будет встречаться с ней, сколько ему вздумается. Почему бы не съездить в город к своему поверенному и самому не изменить завещание, вместо того чтобы делать это письменно; может быть, ей захочется пойти в оперу. Но только поездом: не желает он, чтобы этот толстый Бикон скалил зубы у него за спиной. Слуги такие дураки; да ещё, наверное, знают всю старую историю Ирэн и Босини — слуги знают все, а об остальном догадываются. Утром он написал ей:

«Милая Ирэн, завтра мне нужно быть в городе. Если Вам хочется заглянуть в оперу, давайте пообедаем спокойно...»

Но где? Уже лет сорок он нигде не обедал в Лондоне, кроме как в своём клубе или в частном доме. Ах да, есть этот новомодный отель у самого Ковент-Гарден...

«Дайте мне знать завтра утром в отель „Пьемонт“, ждате ли мне Вас там в семь часов.

Преданный Вам Джолион Форсайт».

Она поймёт, что ему просто захотелось доставить ей маленькое удовольствие. Ибо

мысль, что она может дожидаться о его неотвязном желании видеть её, была ему почему-то неприятна. Не дело такому старику нарушать свой образ жизни, чтобы увидеть красоту, да ещё в женщине!

На следующий день поездка, хоть и короткая, и визит к поверенному утомили его. Было жарко, и, переодевшись к обеду, он прилёг на диван немножко отдохнуть. С ним, вероятно, случился лёгкий обморок, так как он очнулся с очень странным ощущением и еле заставил себя подняться и позвонить. Как! Уже восьмой час, а он-то! И она уже, наверно, дожидается! Но головокружение внезапно повторилось, и ему пришлось снова опуститься на диван. Он услышал голос горничной:

— Вы звонили, сэр?

— Да, подойдите сюда. — Он видел её неясно: перед глазами стоял туман. — Мне нездоровится, достаньте мне нюхательной соли.

— Сейчас, сэр.

Её голос звучал испуганно.

Старый Джолион сделал усилие:

— Постойте! Передайте поручение моей племяннице, она ждёт в вестибюле — дама в сером. Скажите, мистеру Форсайту нездоровится — жара. Он очень сожалеет. Если он сейчас не сойдёт вниз, пусть не ждёт обедать.

Когда она ушла, он бессильно подумал: «Зачем я сказал: „дама в сером“? Она может быть в чём угодно. Нюхательные соли!» Сознания он снова не потерял, однако не помнил, как Ирэн очутилась рядом с ним, подносила ему к носу соли, подсовывала под голову подушку. Он слышал, как она спросила тревожно: «Дядя Джолион, дорогой, что с вами?», смутно почувствовал на руке мягкое прикосновение её губ; потом глубоко вдохнул нюхательные соли, внезапно обнаружил в них силу и чихнул.

— Ха, — сказал он, — пустяки! Как вы сюда попали? Идите вниз и пообедайте. Билеты на столе перед зеркалом. Через пять минут я буду молодцом.

Он почувствовал у себя на лбу прохладную руку, вдохнул запах фиалок и сидел, колеблясь между чувством удовлетворения и твёрдой решимостью быть молодцом.

— Как, вы и правда в сером, — сказал он. — Помогите мне встать. Поднявшись на ноги, он встряхнулся. — Нужно же было мне так раскиснуть. — И он очень медленно двинулся к зеркалу. Ну и скелет!

Её голос тихо сказал у него за спиной:

— Не надо вам идти вниз, дядя Джолион, надо отдохнуть.

— Ещё недоставало! Бокал шампанского живо поставит меня на ноги. Не могу я допустить, чтобы вы не попали в оперу.

Но путешествие по коридору оказалось нелёгким делом. Что у них за ковры в этих новомодных отелях, такие толстые, что спотыкаешься о них на каждом шагу! В лифте он заметил, какой у неё встревоженный вид, и сказал, пытаясь подмигнуть:

— Хорошо я вас принимаю, нечего сказать! Когда лифт остановился, старому Джолиону пришлось крепко ухватиться за сиденье, чтобы не дать ему ускользнуть; но после супа и бокала шампанского он почувствовал себя гораздо лучше и начал испытывать удовольствие от недомогания, которое внесло столько заботливости в её отношение к нему.

— Хорошо бы вы были моей дочерью, — сказал он вдруг и, видя, что глаза её улыбаются, продолжал: — Нельзя жить только прошлым в вашем возрасте; ещё успеете, когда доживёте до моих лет. Красивое на вас платье, люблю этот стиль.

— Я сама сшила.

А-а! Женщина, которая может сшить себе красивое платье, ещё не потеряла вкуса к жизни!

— Живите, пока можно, — сказал он, — и выпейте вот это. Мне хочется, чтобы вы порозовели. Нельзя портить себе жизнь; это не годится. Сегодня новая Маргарита; будем надеяться, что она не толстая. А Мефистофель что может быть ужаснее, чем толстяк в роли черта!

Но в оперу они так и не попали, потому что после обеда у него опять закружилась голова и Ирэн настояла на том, что ему надо отдохнуть и рано лечь спать. Когда он расстался с ней у подъезда отеля, заплатив кэбмену, увозившему её в Челси, он снова присел на минутку, чтобы с наслаждением вспомнить её слова: «Вы так добры ко мне, дядя Джолион». Ну а как же иначе! Он с удовольствием остался бы в Лондоне ещё на денёк и сходил с ней в Зоологический сад, но два дня подряд в его обществе — ей станет до смерти скучно! Нет, придётся подождать до следующего воскресенья, она обещала приехать. Они условятся об уроках для Холли — хотя бы на месяц. Все лучше, чем ничего! Маленькой *marn'zelle* Бос это не понравится, ничего не поделаешь, проглотит. И, прижимая к груди старый цилиндр, он направился к лифту.

На следующее утро он поехал на вокзал Ватерлоо, борясь с желанием сказать: «Отвезите меня в Челси». Но чувство меры одержало верх. Кроме того, его все ещё пошатывало, и он опасался, как бы не повторилось вчерашнее, да ещё вдали от дома. И. Холли ждала его и то, что он вёз ей в саквояже. Впрочем, его детка не способна на корыстную любовь, просто у неё нежное сердечко. Потом с горьким стариковским цинизмом он на минуту усомнился: не корыстная ли любовь заставляет Ирэн терпеть его общество. Нет, она тоже не такая! Ей скорее даже недостаёт понимания своей выгоды, никакого чувства собственности у бедняжки! Да он и не обмолвился о завещании, и не надо — нечего забегать вперёд.

В открытой коляске, которая выехала за ним на станцию, Холли умирала пса Балтазара, и их возня развлекала его до самого дома. Весь этот ясный жаркий день и почти весь следующий он был доволен и спокоен, отдыхая в тени, пока ровный солнечный свет щедро изливался золотом на цветы и газоны. Но в четверг вечером, сидя один за столом, он начал считать часы; шестьдесят пять до того, как он снова будет встречать её в роще и вернётся полями, с ней рядом. Он думал было поговорить с доктором о своём обмороке, но тот, конечно, предпишет покой, никаких волнений и все в этом духе, а он не намерен позволить привязать себя за ногу, не желает, чтобы ему говорили о серьёзной болезни, если она у него есть, просто не может этого слышать, в свои годы, теперь, когда у него появился новый интерес в жизни. И он нарочно ни словом не обмолвился об этом в письме к сыну. Только вызывать их домой раньше срока! Насколько он этим молчанием оберегал их спокойствие, насколько имел в виду своё собственное — об этом он не задумывался.

В тот вечер у себя в кабинете он только что докурил сигару и стал впадать в дремоту, как услышал шелест платья и почувствовал запах фиалок. Открыв глаза, он увидел её у камина, одетую в серое, протягивающую вперёд руки. Странно было то, что, хотя руки, казалось, ничего не держали, они были изогнуты, словно обвивались вокруг чьей-то шеи, а голова была закинута, губы открыты, веки опущены. Она исчезла мгновенно, и осталась каминная доска и его статуэтки. Но ведь этих статуэток и доски не было, когда здесь была Ирэн, только стена и камин. Потрясённый, озадаченный, он встал. «Нужно принять лекарство, — подумал он, — я болен». Сердце билось неестественно быстро, грудь стесняло, как при астме; и, подойдя к окну, он открыл его — не хватало воздуха. Вдалеке лаяла собака, верно, на ферме Гейджа, за рощей. Прекрасная тихая ночь, но тёмная. «Я задремал, — думал он, — вот в чём дело! А между тем, готов поклясться, глаза у меня были открыты». В ответ послышался звук, похожий на вздох.

— Что такое? — сказал он резко. — Кто здесь?

Прижав руку к груди, чтобы не так колотилось сердце, он вышел на террасу. Что-то мягкое метнулось во мраке. «Шшш!» Это была большая серая кошка. «Молодой Босини напоминал большую кошку, — подумал он. — Это он был там в комнате, это его она... она... Он всё ещё владеет ею!» Он дошёл до края террасы и заглянул вниз, в темноту; чуть видны были ромашки, усеявшие нескошенный газон. Сегодня здесь, завтра погибнут! А вот и луна, она все видит, молодое и старое, живое и мёртвое, и ни до чего ей нет дела! Скоро и его черёд. За один день молодости он бы отдал все, что осталось! И он снова повернул к дому. Были видны окна детской на втором этаже. Его детка спит, конечно, «Только бы эта

собака не разбудила её, подумал он. — Отчего это мы любим, отчего умираем? Пора спать».

И по плитам террасы, начинавшим сереть от света луны, он прошёл обратно в комнаты.

V

Как ещё старику проводить свои дни, если не в размышлениях о хорошо прожитой жизни? Эти мысли не согреты волнением, на них светит только бледное зимнее солнце. Оболочка выдержит мягкое биение моторов памяти. К настоящему ему следует относиться с опаской, от будущего держаться подальше. Из густой тени следует ему смотреть на солнечный свет, играющий у его ног. Если засветит летнее солнце, пусть не выходит, приняв его за осенний солнечный день. И тогда, может быть, он состарится тихо, мягко, незаметно, и наконец нетерпеливая Природа схватит его за горло, и он задохнётся насмерть как-нибудь ранним утром, когда мир ещё не проветрен, и на могиле его напишут: «В расцвете лет». Н-да! Если Форсайт твёрдо придерживается своих принципов, он может жить ещё долго после смерти.

Старый Джолион прекрасно знал все это, но было в нём и то, что выходило за пределы форсайтизма. Ибо известно, что Форсайт не должен любить красоту больше разума; ни ставить собственные желания выше собственного здоровья. А в эти дни что-то билось в нём, что с каждым ударом понемногу разрушало ветшающую оболочку. Он был умён и знал это, но знал также и то, что не может остановить это биение, а если бы и мог, не захотел бы. Между тем, всякого, кто сказал бы ему, что он проживает свой капитал, он просто уничтожил бы взглядом. Нет, нет, капитал не проживают, это неприлично! Кумиры вчерашнего дня всегда реальнее сегодняшних фактов. И он, всю жизнь считавший, что проживать капитал — это смертный грех, никак не мог бы согласиться на такую грубую формулу в приложении к самому себе. Удовольствие полезно для здоровья; красота радует глаз; жить снова — молодостью молодых, — а что же, как не это, он и делает!

Методично, следуя привычке всей своей жизни, он распределил своё время. По вторникам он отправлялся в Лондон поездом; Ирэн приезжала к нему обедать, и они шли в оперу. По четвергам он ездил в город в коляске и, оставив где-нибудь толстяка с лошадьми, встречался с ней в Кенсингтонском саду, а расставшись, снова садился в коляску и поспевал домой к обеду. Дома он объяснил мимоходом, что в эти дни у него в Лондоне дела. По средам и субботам она приезжала давать Холли уроки музыки. Чем больше удовольствия он находил в её обществе, тем более становился сдержанным и корректным: самый прозаический добрый дядюшка. Да большего он и не чувствовал — ведь он как-никак был очень стар. А между тем, если она опаздывала, он не находил себе места. Если не приезжала, а это случилось два раза, глаза у него делались печальными, как у старой собаки, и он лишался сна.

И так прошёл месяц — месяц, лета в полях и в его сердце, с летним изнуряющим зноем. Кто бы поверил несколько недель назад, что он будет ждать возвращения сына и внучки чуть не со страхом? В эти недели дивной погоды, в новом общении с женщиной, которая ничего не требовала и всегда оставалась чуть-чуть незнакомой, сохраняя обаяние тайны, он наслаждался свободой и той самостоятельностью, которую человек теряет, когда создаёт семью. Словно глоток вина для того, кто, подобно ему, так долго пил воду, что чуть не забыл, как вино разгоняет кровь и туманит сознание, Цветы пестрели ярче, запахи, и музыка, и солнечный свет ожили, не были уже только напоминанием о прошлых радостях. Теперь ему было для чего жить, он непрестанно волновался и ждал. «Он этим и жил, а не прошлым — существенная разница для человека в его возрасте. Утехи хорошего стола, которые он, будучи по природе воздержанным, никогда не ставил особенно высоко, теперь потеряли всякую ценность. Он ел мало, не разбирая, что ест; и с каждым днём худел, и вид у него становился все более измождённый. Он снова стал „щепкой“; и огромный лоб со впавшими висками придавал ещё больше благородства похудевшей фигуре. Он прекрасно сознавал, что надо посоветоваться с доктором, но уж очень сладка была свобода. Не мог он пожертвовать

свободой, чтобы возиться с одышкой и болью в боку! Вернуться к растительному существованию, которое он вёл среди своих сельскохозяйственных журналов с кормовой свёклой в натуральную величину до того, как в его жизни появился этот новый интерес, — нет! Он стал больше курить. Две сигары в день он всегда позволял себе. Теперь он выкуривал три, иногда четыре — как всякий мужчина, в котором живёт творческий дух. Но очень часто он подумывал: „Надо бросить курить и пить кофе; надо бросить это катанье в город!“ И не бросал; никого, кто мог бы повлиять на нею, с ним не было, и это было великое благо. Слуги, возможно, недоумевали, но, разумеется, не говорили ни слова. Mam'zelle Бос была слишком занята собственным пищеварением и слишком „хорошо воспитана“, чтобы говорить на личные темы Холли ещё не научилась замечать, как выглядит тот, кто был ей игрушкой и богом. Самой Ирэн приходилось уговаривать его есть побольше, отдыхать в жаркое время дня, принимать лекарства. Но она не говорила ему, что он худеет из-за неё, — ведь трудно увидеть опустошение, которому ты сам причиной. В восемьдесят пять лет мужчина не знает страсти, но красота, которая рождает страсть, действует по-прежнему, пока смерть не сомкнёт глаза, жаждущие смотреть на неё.

В первый день второй недели июля он получил письмо из Парижа от сына с известием, что все они будут дома в пятницу. Он всё время знал, что это неизбежно, но с трогательным легкомыслием, которое даётся старым людям, чтобы они могли выдержать до конца, все же не вполне этому верил. Теперь он поверил, и что-то нужно было предпринять. Он уже не мог вообразить себе жизни без этого нового интереса, но невообразимое иногда существует, и Форсайты сплошь да рядом убеждаются в этом на собственной шкуре. Он сидел в старом кожаном кресле, складывая письмо и разминая губами конец незажженной сигары. Ещё один день, а потом поездки в город по вторникам придётся бросить. Разве что можно будет ездить в коляске раз в неделю под предлогом свиданий с юристом. Но и это будет зависеть от его здоровья, ведь теперь они начнут с ним нянчиться. Уроки! Уроки должны продолжаться! Пусть Ирэн отделается от своих страхов, и Джун должна спрятать чувства в карман. Она уже сделала это однажды — когда узнала о смерти Босини; как тогда поступила, конечно, может поступить и теперь. Четыре года, как ей нанесли это оскорбление; не по-христиански это хранить память о старых обидах! У Джун сильная воля, но у него сильнее, ибо время его кончается. Ирэн такая мягкая, она, конечно, сделает это для него, подавит свои колебания, чтобы не причинять ему боли. Уроки должны продолжаться; ведь если так — он спасён! И, закурив, наконец, сигару, он начал обдумывать, как рассказать своим, как объяснить им эту странную дружбу; как скрыть, заслонить от них голую истину, что он не вынесет, если у него отнимут возможность видеть красоту. А, Холли! Холли её любит, Холли нравятся уроки! Она его выручит, его детка! И на этой счастливой мысли он совсем успокоился и уже не мог понять, о чём это он так страшно тревожился. Не нужно тревожиться, после этого он всегда испытывает необычайную слабость и ощущение, будто половина его находится вне его тела.

В тот вечер после обеда головокружение повторилось, хоть он и не потерял сознания. Звонить он не захотел, так как знал, что это вызовет кутерьму и сделает его завтрашнюю поездку в город ещё более приметной. Когда ты стар, все, как сговорившись, пытаются ограничить твою свободу, а зачем? — чтобы немножко продлить тебе жизнь. Не хочет он этого — такой ценой! Только пёс Балтазар видел, как он один оправился от своей слабости; пёс с тревогой смотрел, как его хозяин подошёл к буфету и выпил коньяку, вместо того чтобы дать ему печенья. Когда, наконец, старый Джолион почувствовал, что сладит с лестницей, он пошёл спать. И хотя наутро он ещё не твёрдо держался на ногах, мысль о вечере поддерживала его и прибавляла сил. Так бывало всегда приятно угостить Ирэн хорошим обедом: он подозревал, что она недоедает, когда остаётся одна; а потом в опере смотреть, как её глаза горят и светлеют, как бессознательно улыбаются губы! Не много у неё радости в жизни, и это удовольствие он сможет ей доставить в последний раз! Но, укладывая саквояж, он поймал себя на мысли, что страшится предстоящего ему утомительного переодевания к обеду и усилия, необходимого, чтобы сообщить ей о возвращении Джун.

В театре в тот вечер давали «Кармен», и он выбрал для разговора последний антракт,

инстинктивно откладывая объяснение до последней минуты. Она приняла новость спокойно, но немного странно; по правде сказать, он так и не разобрал, как она приняла её, до того как снова зазвучала своенравная музыка и молчание стало необходимостью. Маска на её лице была опущена, маска, за которой жило так много, чего он не знал. Ей, конечно, хочется повременить, обдумать. Он не станет её торопить, ведь завтра она придет давать урок, и он увидит её, когда она уже свыкнется с этой мыслью. По дороге из театра он говорил только о Кармен: он видел лучших в прежнее время, но и эта совсем не плоха, Когда он взял её руку, чтобы проститься, она быстро наклонилась и поцеловала его в лоб.

— Прощайте, дорогой дядя Джолион, вы были так добры ко мне!

— Значит, до завтра, — сказал он. — Спокойной ночи. Спи сладко.

Она тихо откликнулась:

— Спи сладко.

И в окне удаляющегося кэба он увидел её лицо, повернутое к нему, и протянутую руку, словно застывшую в прощальном привете.

Он медленно направился к своему номеру. Каждый раз ему давали другой, и он не мог привыкнуть к этим «шикарным» спальням с новой мебелью и серо-зелёными коврами в палевых розах. Ему не спалось, эта несчастная хабанера все стучала в голове. Он никогда не владел французским достаточно, чтобы разобрать все слова, но смысл их знал, если только в них вообще был смысл; цыганская песенка, дикая, непонятная! Впрочем, есть в жизни что-то, что опрокидывает все наши труды и планы, заставляет людей плясать под свою дудку. И он лежал, вглядываясь запавшими глазами в темноту, где царило непонятное. Думаешь, что держишь свою жизнь в руках, а оно подкрадывается к тебе, хватая тебя за шиворот, толкает туда, толкает сюда, а потом, чего доброго, задушит до смерти! Так, вероятно, оно хватает и звезды, сталкивает их носами и расшвыривает; никак не устанет играть свои шутки! Пять миллионов людей в этом дурацком громадном городе, и все они во власти этой силы — Жизни, как кучка сухих горошинок, которые прыгают по доске, когда ударишь по ней кулаком. Ему-то, положим, немного времени осталось прыгать, глубокий долгий сон пойдёт ему на пользу.

Как жарко тут в городе! Как шумно! Лоб у него горел; она поцеловала его как раз туда, где всегда беспокоило, будто знала верное место и хотела утешить. Но вместо этого от прикосновения её губ осталось чувство горестной растерянности. Никогда раньше она не говорила таким голосом, никогда не делала этого прощального жеста, не оглядывалась на него, уезжая. Он встал с постели и отёрнул занавеску; окна выходили на реку. Было душно, но от вида протекающей мимо водной шири, спокойной, вечной, ему стало легче. «Самое главное, — подумал он, — не надоедать людям. Буду думать о моей детке и засну». Но ещё не скоро жара и шум лондонской ночи сменились короткой дремотой летнего утра. И старый Джолион почти не сомкнул глаз.

Когда на следующий день старый Джолион добрался домой, он вышел в цветник и с помощью Холли, которая очень нежно обращалась с цветами, собрал большой букет гвоздики. Он сказал ей, что они для «дамы в сером», но имя всё ещё было в ходу между ними; и поставил их в вазу у себя в кабинете, где намеревался атаковать Ирэн, как только она придет, по вопросу о Джун и дальнейших уроках. Благоухание и краски помогут! После завтрака он прилёг, так как очень устал, а она должна была приехать со станции только в четыре. Не с приближением этого часа он стал беспокоиться и пошёл в классную, выходящую окнами на дорогу. Шторы были спущены, Холли и мадемуазель Бос, укрывшись от зноя душного июльского дня, занимались шелковичными червями. Старый Джолион питал врождённое отвращение к этим методичным созданиям, цветом и формой головы напомиавшим ему слонов, прогрызавшим столько дырок в красивых зелёных листьях и пахнувшим, по его мнению, прескверно. Он сел на обитый ситцем диван у окна, откуда была видна дорога и где было не так душно; и пёс Балтазар, который одобрял ситец в жаркие дни, вскочил на диван с ним рядом. На пианино был надет лиловый чехол, почти серый от времени, и стоявшая на нём ранняя мята наполняла классную своим запахом.

Несмотря на прохладу комнаты, может быть, благодаря этой прохладе, биение жизни угнетающе действовало на ослабевшие чувства старого Джолиона. Каждый солнечный луч, проникавший сквозь щели, дразнил своим блеском; от собаки очень сильно пахло; одурял аромат мяты, шелковичные черви, выгибавшие серо-зелёные спинки, были живыми до ужаса; и тёмная головка Холли, склонённая над ними, ярче обычного отливала шёлком. Поразительная, до жестокости сильная штука жизнь, когда ты стар и слаб; точно дразнит своим многообразием, бьющей через край энергией! Никогда до этих последних недель он не знал этого чудного ощущения, будто половину его существа захлестнуло и несёт потоком жизни, а другая половина осталась на берегу и смотрит ей вслед. Только когда с ним была Ирэн, эта раздвоенность сознания исчезала.

Холли повернула голову, указала смуглым кулачком на рояль — ибо пальцем «хорошо воспитанные» дети не показывают — и сказала лукаво:

— Посмотри на даму в сером: дедушка; правда, она сегодня хорошенькая?

У старого Джолиона забилося сердце, и на мгновение комнату застлал туман; потом туман рассеялся, и он спросил, подмигнув:

— Кто же это одел её?

— Mam'zelle!

— Hoilee! Не говори глупостей!

Ах, уж эта француженка! Никак не может пережить, что у неё отняли уроки музыки. Ничего не поделаешь! Его детка — их единственный друг. А это её уроки. И он не уступит, ни за что не уступит! Он погладил тёплую шерсть на голове Балтазара и услышал голос Холли:

— Когда мама вернётся, все останется, как сейчас, правда? Она ведь не любит чужих.

Слова девочки будто окружили старого Джолиона ледяной атмосферой протеста, показали ему, что грозит его вновь обрётённой свободе. А! Придётся признать себя стариком, сдать на милость забот и любви. Или бороться за свою новую и незаменимую дружбу, а от борьбы он уставал смертельно. Но его худое, измождённое лицо так затвердело в решимости, что казалось сплошным подбородком. Это его дом; и его дело; он не уступит! Он взглянул на часы, старые, тонкие, как и он сам; они жили у него пятьдесят лет. Уже пятый час. И, мимоходом поцеловав Холли в макушку, он спустился в холл. Он хотел захватить Ирэн раньше, чем она «пройдёт наверх давать урок. Едва заслышав шум колёс, он вышел на крыльцо и сейчас же увидел, что коляска пуста.

— Поезд пришёл, сэр, но дама не приехала.

Старый Джолион строго взглянул на него снизу вверх, глаза его словно отталкивали от себя любопытство толстяка, запрещали ему уловить горькое разочарование, которое он испытывал.

— Хорошо, — сказал он и повернул обратно в дом.

Он прошёл в кабинет и сел, дрожа как осиновый лист. Что это значит? Может быть, опоздала на поезд, но он слишком хорошо знал, что это не так. «Прощайте, дорогой дядя Джолион!» Почему «прощайте», а не «до свидания»? И её рука, застывшая в воздухе. И её поцелуй. Что это значит? Им овладела неистовая тревога и раздражение. Он встал и зашагал назад и вперёд по турецкому ковру между окном и стеной. Она его бросила! Он был уверен в этом и безоружен. Старик, а хочет любоваться красотой! Не смешно ли! Старость сковала его уста, отняла способность бороться. Нет у него права на все живое и тёплое, ни на что нет права, кроме воспоминаний и горя. Упрашивать её он не мог: гордость есть и у стариков. Безоружен! Целый час, не чувствуя физической усталости, он ходил назад и вперёд, мимо вазы с гвоздикой, которую нарвал для неё и которая дразнила его своим запахом.

Человеку, всю жизнь поступавшему по-своему, труднее всего снести поражение его воли — Жизнь поймала его в сети, и, как несчастная рыба, он плавал и бился о петли то тут, то там, не в силах выскользнуть или прорвать их. В пять часов ему принесли чай и письмо. На мгновение в нём вспыхнула надежда. Он разрезал конверт ножом для масла и прочёл:

«Милый, дорогой дядя Джолион, мне так тяжело писать Вам то, что Вас может огорчить, но вчера я просто не решилась сказать. Я чувствую, что не могу, как раньше, приезжать и давать Холли уроки, теперь, когда возвращается Джун. Некоторые вещи ранят так глубоко, что их нельзя забыть. Так радостно было видеть Вас и Холли! Может быть, мы ещё будем иногда встречаться, когда Вы будете приезжать в город, хотя я уверена, что Вам это вредно, — я ведь вижу, как вы переутомляетесь. По-моему, Вам нужно как следует отдохнуть до конца жары, и теперь, с приездом Вашего сына и Джун, Вам будет так хорошо. Тысячу раз благодарю Вас за всю Вашу доброту ко мне.

Любящая Вас Ирэн».

Так вот оно! Вредно ему радоваться, иметь то, что он больше всего ценит; пытаться оттянуть ощущение неизбежного конца всего, смерти, подкрадывающейся тихими, шуршащими шагами! Вредно! Даже она не могла понять, что она для него — новая возможность держаться за жизнь, воплощение всей той красоты, которая от него ускользает.

Чай остыл, сигара оставалась незакуренной; а он все шагал взад-вперёд, разрываясь между жаждой жизни и гордостью. Невыносимо знать, что тебя медленно вытесняют из жизни без права высказать своё мнение, продолжать жить, когда твоя воля — в руках других, твёрдо решивших раздавить тебя заботой и любовью! Невыносимо! Он посмотрит, как на неё подействует правда, когда она узнает, что видеть её ему важнее, чем просто тянуть подольше. Он сел к старому письменному столу и взял перо. Но не мог писать. Было что-то унижительное в необходимости упрашивать её, упрашивать, чтобы она согрела его взор своей красотой. Все равно, что признаться в слабоумии! Он просто не мог. И вместо этого написал:

«Я надеялся, что память о былых обидах не сможет помешать тому, что идёт на радость и пользу мне и моей маленькой внучке. Но старых людей учат отказываться от прихотей; что же делать, ведь, даже от прихоти жить нужно рано или поздно отказаться; и может быть, чем раньше, тем лучше.

С приветом Джолион Форсайт».

«Горько, — подумал он, — но иначе не могу. Устал я».

Он запечатал письмо, бросил его в ящик, чтобы забрали с вечерней почтой, и, услышав, как оно упало на дно, подумал: «Вот и кончено все, что у меня оставалось».

Вечером, после обеда, к которому он едва притронулся, после сигары, которую бросил, докурив до половины, потому что почувствовал слабость, он очень медленно поднялся вверх и неслышно зашёл в детскую. Он присел у окна. Горел ночник, и он едва различал лицо Холли и подложенную под щёчку руку. Гудел жук, попавший в папиросную бумагу, которой был набит камин, одна из лошадей в конюшне беспокойно била ногой. Как спит эта девочка! Он раздвинул планки деревянной шторы и выглянул. Луна вставала кроваво-красная. Никогда он не видел такой красной луны! Леса и поля вдалеке тоже клонились ко сну в последнем отблеске летнего дня. А красота бродила, как призрак. «Я прожил долгую жизнь, — думал он, — имел все лучшее, что есть в этом мире. Я просто неблагодарный; я видел столько красоты в своё время. Бедный молодой Босини говорил, что у меня есть чувство красоты. На луне сегодня странные пятна!» Пролетела ночная бабочка, ещё одна, ещё. «Дамы в сером!» Он закрыл глаза. Им овладело чувство, что он уже никогда их не откроет; он дал этому чувству вырасти, дал себе ослабеть; потом вздрогнул и с усилием поднял веки. Несомненно, с ним творится что-то неладное, очень неладное; придётся всё-таки пригласить доктора. Теперь-то все равно! И в рощу, наверно, пробрался лунный свет; там тени, и одни только тени не спят. Пропали птицы, звери, цветы, насекомые; одни тени движутся; «дамы в сером!» Перелезают через упавшее дерево, шепчутся. Она и Босини? Чудная мысль! И лягушки, и лесная мошкара тоже шепчутся. Как громко тикают часы! Было таинственно, жутко, там, в свете красной луны, и здесь тоже, при маленьком спокойном ночнике; тикали часы, халат няни свисал с ширмы, длинный, похожий на фигуру женщины «Дама в сером!» И очень странная мысль завладела им: существует ли она

вообще? Приезжала ли когда-нибудь? Или она только отзвук всей красоты, которую он любил в жизни и так скоро должен покинуть? Серо-лиловая фея с тёмными глазами и короной янтарных волос, что является на рассвете, и в лунные ночи, и в знойные дни? Что она, кто она, есть ли она вообще? Он встал и постоял немного, ухватившись за подоконник, чтобы вернуться в реальный мир; потом на цыпочках пошёл к двери. В ногах кровати он остановился; и Холли, словно чувствуя его взгляд, устремлённый на неё, зашевелилась, вздохнула и плотнее свернулась, защищаясь. Он тихо двинулся дальше и вышел в тёмную галерею; добрался до своей комнаты, сейчас же разделся и стал перед зеркалом в ночной рубашке. Ну и чучело — виски ввалились, ноги тонкие! Глаза его отказывались воспринимать собственный образ, на лице появилось выражение гордости. Все сговорились заставить его сдаться, даже его отражение в зеркале, но он не сдался — нет ещё! Он лёг в постель и долго лежал без сна, пытаясь смириться, слишком хорошо сознавая, что тревога и разочарование ему очень вредны.

Утром он проснулся такой неотдохнувший и обессиленный, что послал за доктором. Осмотрев его, тот скорчил недовольную мину и велел лежать в постели и бросить курить. Это не было лишением; вставать было незачем, а к табаку он всегда терял вкус, когда бывал болен. Он лениво провёл утро при спущенных шторах, листая и перелистывая «Тайме», почти не читая, и пёс Балтазар лежал около его кровати. Вместе с завтраком ему принесли телеграмму: «Письмо получила приеду сегодня буду у вас четыре тридцать Ирэн».

Приедет! Дождется! Так она существует, и он не покинут! Приедет! По всему телу прошло тепло; щеки и лоб горели. Он выпил бульон, отодвинул столик и лежал очень тихо, пока не убрали посуду и он не остался один; но время от времени глаза его подмигивали. Приедет! Сердце билось быстро, а потом, казалось, совсем переставало биться. В три часа он встал и не спеша бесшумно оделся. Холли и *там zeile*, верно, в классной, прислуга, скорее всего, пообедала и спит. Он осторожно отворил дверь и сошёл вниз. В холле одиноко лежал пёс Балтазар, и в сопровождении его старый Джолион прошёл в свой кабинет, а оттуда — на палящее солнце. Он думал пойти встретить её в роще, но сейчас же почувствовал, что не сможет в такую жару. Тогда он уселся под старым дубом около качелей, и пёс Балтазар, тоже страдавший от жары, улёгся у его ног. Он сидел и улыбался. Какой буйный, яркий день! Как жужжат насекомые, воркуют голуби! Квинтэссенция летнего дня. Дивно! И он был счастлив, счастлив, как мальчишка. Она приедет; она его не бросила. У него есть все, чего он хочет в жизни, если бы только полегче было дышать и не так давило вот тут! Он увидит её, когда она выйдет из папоротников, подойдёт, чуть покачиваясь, серолиловая фигурка, пройдёт по ромашкам, и одуванчикам, и макам газона — по макам с цветущими шапками. Он не пошевеливается, но она подойдёт к нему и скажет: «Милый дядя Джолион, простите!», и сядет на качели, и он сможет глядеть на неё и рассказать ей, что он немножко прихворнул, но сейчас совсем здоров; и пёс будет лизать ей руку. Пёс знает, что хозяин её любит; хороший пёс.

Под густыми ветвями было совсем тенисто; солнце не проникало к нему, только озаряло весь мир вокруг, так что был виден Эпсомский ипподром вон там, очень далеко, и коровы, что паслись в клевере, обмахиваясь хвостами от мух. Пахло липами и мятой. А, вот почему так шумели пчелы. Они были взволнованы, веселы, как взволнованно и весело было его сердце. И сонные, сонные и пьяные от мёда и счастья, как сонно и пьяно было у него на сердце. Жарко, жарко, — словно говорили они; большие пчелы, и маленькие, и мухи тоже.

Часы над конюшней пробили четыре; через полчаса она будет здесь. Он чуточку вздремнёт, ведь он так мало спал последнее время; а потом проснётся свежим для неё, для молодости и красоты, идущей к нему по залитой солнцем лужайке, — для дамы в сером! И, глубже усевшись в кресло, он закрыл глаза. Едва заметный ветерок принёс пушинку от чертополоха, и она опустилась на его усы, более белые, чем она сама. Он не заметил этого; но его дыхание шевелило её. Луч солнца пробился сквозь листву и лёг на его башмак. Прилетел шмель и стал прохаживаться по его соломенной шляпе. И сладкая волна дремоты проникла под шляпу в мозг, и голова качнулась вперёд и упала на грудь. Знойно, жарко, —

жужжало вокруг.

Часы над конюшней пробили четверть. Пёс Балтазар потянулся и взглянул на хозяина. Пушинка не шевелилась. Пёс положил голову на освещённую солнцем ногу. Она осталась неподвижной. Пёс быстро отнял морду, встал и вскочил на колени к старому Джолиону, заглянул ему в лицо, взвизгнул, потом, соскочив, сел на задние лапы, задрал голову. И вдруг протяжно, протяжно завыл.

Но пушинка была неподвижна, как смерть, как лицо его старого хозяина.

Жарко... жарко... знойно! Бесшумные шаги по траве!

1918

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке ModernLib.Ru](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)